



Впечатления моей жизни

Из воспоминаний директора Николаевской обсерватории

Б. П. Остащенко-Кудрявцева

(1876 – 1956)

Впечатления моей жизни

**Из воспоминаний директора Николаевской обсерватории
Б. П. Остащенко-Кудрявцева
(1876 – 1956)**

Николаев
Издатель Торубара В.В.
2014

УДК 94(47+57)"1876/1956":52
ББК 63.3(2)5–8
О 76

Впечатления моей жизни. Из воспоминаний директора Николаевской обсерватории Б.П. Остащенко-Кудрявцева / под ред. Ж. А. Пожаловой. — Николаев : издатель Торубара В. В., 2014. — 100 с., 16 илл.

ISBN 978-966-97365-6-7

В книгу вошли некоторые неопубликованные ранее воспоминания третьего директора Николаевской астрономической обсерватории (1909–1923 гг.) Бориса Павловича Остащенко-Кудрявцева. В них содержатся интересные описания жизни и быта дореволюционного Петербурга, экспедиционных путешествий в Курскую губернию и Англию в конце XIX века, а также отдельные эпизоды пребывания автора в Николаеве в первой половине XX века.

УДК 94(47+57)«1876/1956»: 5
ББК 63.3(2)5–8

ISBN 978-966-97365-6-7

© Ж. А. Пожалова, 2014
© В. И. Белявский, 2014



Содержание

Предисловие	4
Некоторые сведения из биографии Б.П. Остащенко-Кудрявцева ..	6
Основные даты жизни и деятельности Б.П. Остащенко-Кудрявцева	11
Памятная записка	13
Воспоминания детства. Мои родители. Часть I	16
Воспоминания детства. Мои родители. Часть II	40
Поездка в Курскую губернию для исследования магнитной аномалии. Воспоминания о П. К. Козлове	53
Приготовления к плаванию на «Ермаке» и поездка в Англию. 1899 год	72
Тараканы	87
Тропическая гроза в Николаеве	89
Николаевские впечатления	92
Общий перечень воспоминаний Б. П. Остащенко-Кудрявцева ..	98
Литература	100



Предисловие

В 2011 году была опубликована книга «Николаевская обсерватория в первой половине XX века» [1], посвященная жизни и деятельности обсерватории в Николаеве в период существенных преобразований и суровых испытаний того времени. В начале XX века, прекратив существование в качестве Морской обсерватории, она становится Николаевским отделением Главной астрономической обсерватории в Пулкове. Основная заслуга в вопросе выживания и сохранения ее как научного учреждения принадлежит, безусловно, директорам — Борису Павловичу Остащенко-Кудрявцеву (с 1909 по 1923 гг.) и Леониду Ивановичу Семенову (с 1923 по 1951 гг.), которые являлись воспитанниками Пулковской обсерватории.

В ходе работы над книгой авторы имели возможность познакомиться с документами из архивов Главной астрономической обсерватории РАН и Николаевской обсерватории, а также личными архивами семьи Б. П. Остащенко-Кудрявцева. В них сохранились уникальные воспоминания Бориса Павловича, относящиеся к детству, участию в научных экспедициях в студенческие и молодые годы, работе в Пулковской обсерватории, а также к николаевскому периоду жизни. Эти автобиографические записки были написаны в конце жизни, отличаются хорошим изложением и содержат интересные факты жизни и быта прошлого. Борису Павловичу посчастливилось так или иначе пересекаться с довольно известными личностями, о которых он упоминает в своих мемуарах.

Лишь небольшая часть этих записей была опубликована в первых выпусках сборника «Историко-астрономические исследования» в конце 50-х годов минувшего века. Единственная дочь Бориса Павловича, Зоя Борисовна, известный харьковский краевед, в течение всей жизни бережно сохраняла богатый семейный архив и перепечатала рукописные воспоминания на пишущей

машинке в нескольких экземплярах. В 2001 году после смерти Зои Борисовны прервалась линия прямых потомков Б. П. Остащенко-Кудрявцева, и большая часть семейного архива оказалась в Музее истории Харьковского государственного технического университета строительства и архитектуры. Однако еще при жизни часть архива Зоя Борисовна передала своим родственникам в Николаев, потомкам родного брата Бориса Павловича — Владимира Павловича, который был врачом и умер в 1928 году. Узнав, что сотрудники обсерватории работают над книгой, посвященной Б. П. Остащенко-Кудрявцеву, внуки Владимира Павловича — Владимир Иванович Белявский и Георгий Николаевич Кудрявцев любезно предоставили нам в пользование имеющийся у них архив.

Возникла идея опубликовать отдельную книгу, посвященную мемуарам Б. П. Остащенко-Кудрявцева, поскольку значительная часть материала, содержащегося в воспоминаниях, не вошла в книгу про Николаевскую обсерваторию. Взяв на себя смелость сделать некоторые грамматические правки в соответствии с грамматикой современного языка, а также сократив «Воспоминания детства» (часть I, II), опуская некоторые подробности относительно отдельных персоналий, мы подготовили издание, которое предлагаем вниманию читателей, и надеемся, что оно окажется интересным.

Выражаем благодарность за ценные советы и помощь при подготовке этой книги к изданию кандидату исторических наук, доценту кафедры истории Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета Вадиму Юрьевичу Жукову и заведующей архивом Главной (Пулковской) астрономической обсерватории Российской академии наук Татьяне Владиславовне Соболевой, сотрудникам Николаевской астрономической обсерватории Виталию Федоровичу Крючковскому, Тамаре Александровне Аслановой и Елене Витальевне Маврокордато за подготовку рукописи к печати, а также директору Николаевской обсерватории Геннадию Ивановичу Пинигину и Владимиру Ивановичу Белявскому, внуку Б. П. Остащенко-Кудрявцева, за помощь и содействие в публикации книги.

Жанна Анатольевна Пожалова



Некоторые сведения из биографии Б. П. Остащенко-Кудрявцева

Борис Павлович Остащенко-Кудрявцев родился 28 декабря 1876 года (9 января 1877 года) в С.-Петербурге в семье архитектора. Его отец, Павел Иванович, родом из крепостных крестьян Курской губернии, получил образование в Петербургской академии художеств. В «Памятной записке», составленной самим Павлом Ивановичем в 1888 году, содержатся краткие сведения о его деятельности. Мать Бориса Павловича, Елизавета Густавовна, урожденная фон Ленц, происходила из старинного немецкого дворянского рода и получила образование в Смольном институте. Кроме старшего Бориса, в семье было еще трое детей — сыновья Владимир, Николай и дочь Надежда. В течение всей жизни Борис Павлович хранил в памяти детские воспоминания. Незадолго до начала Великой Отечественной войны и вскоре после ее окончания ему удалось подробно восстановить и облечь в художественную форму яркие картины детства («Воспоминания детства. Мои родители», в двух частях).

Борис Павлович обучался в Третьей петербургской классической гимназии, где увлекся астрономией и начал регулярно посещать заседания Русского астрономического общества. Будучи четырнадцатилетним юношей, в 1891 году после смерти отца он вынужден был помогать матери поднимать на ноги младших детей. Обладая незаурядным талантом к точным наукам, Борис подрабатывал у своих обеспеченных товарищей, занимаясь репетиторством. В 1894 году, окончив гимназию с золотой медалью, Б. П. Остащенко-Кудрявцев поступил на физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета, где зарекомендовал себя способным студентом. Воспоминания об университетских учителях опубликованы в статье Б. П. Остащенко-Кудрявцева «Мои учителя» [2].

После окончания третьего курса университета директор Главной (Пулковской) астрономической обсерватории (ГАО) Оскар Андреевич Баклунд предложил Остащенко-Кудрявцеву поработать над вычислением орбит малых планет для проверки своей новой теории. Хорошо зарекомендовав себя во время летней практики, Б. П. Остащенко-Кудрявцев получил предложение Баклунда по окончании университета возвратиться в Пулково на постоянную работу.

Весной 1898 года, успешно выдержав выпускные испытания и защитив с оценкой «весьма удовлетворительно» (в то время это был высший балл) дипломную работу на тему «Приближение кометы к некоторой большой планете Солнечной системы настолько близко, что эта планета для нее становится главным телом», Борис Павлович был удостоен Диплома Первой степени об окончании университета, который давал ему право быть оставленным при университете для приготовления к профессорскому званию. Однако по договоренности с Баклундом он был принят в Пулковскую обсерваторию на должность «сверхштатного» астронома. На самом деле это была штатная должность, на которую приглашались вычислители с оплатой из частных пожертвований. Картины самобытной жизни Пулковской обсерватории Борис Павлович запечатлел в воспоминаниях «Пулково в 1897 г.» [3] и «Ураган в Пулкове в 1898 г.» [4].

В эти же годы Б. П. Остащенко-Кудрявцев был участником нескольких широко известных научных экспедиций. В 1896 году по рекомендации профессора А. М. Жданова был командирован в экспедицию по исследованию Курской магнитной аномалии под руководством известного французского магнитолога Муру. Этот эпизод жизни Бориса Павловича нашел отражение в публикуемом здесь очерке «Поездка в Курскую губернию для исследования магнитной аномалии».

В 1899 году молодой пулковский астроном Б. П. Остащенко-Кудрявцев был включен в состав первой полярной экспедиции адмирала С. О. Макарова на ледоколе «Ермак» с поручением производства магнитных наблюдений, а также астрономических с целью определения коэффициента земной рефракции. Первое арктическое плавание построенного в Ньюкасле (Англия) по заказу русского правительства ледокола было сопряжено с большими трудностями: ледоколу пришлось вернуться в Ньюкасл на ремонт,

после чего экспедиция была продолжена. В очерке «Приготовление к плаванию на «Ермаке» и поездка в Англию. 1899 год» Борис Павлович рассказывает о приключениях при подготовке к этой экспедиции и во время путешествия в Ньюкасл. На «Ермаке» помимо своих основных наблюдений Борис Павлович участвовал в изучении процессов формирования «тяжелых льдов». По завершению экспедиции адмирал Макаров прислал на имя О. А. Баклунда благодарственное письмо: «Милостивый государь Оскар Андреевич. Вместе с сим возвращается молодой астроном Б. П. Кудрявцев, и я пользуюсь этим случаем, чтобы благодарить Вас, что Вы отпустили его в плавание на Ермаке. Магнитных наблюдений было немного, но Б. П. Кудрявцев все время с большим усердием работал по физике и сделал несколько весьма ценных обобщений. Прошу Вас принять уверение в моем глубоком уважении и преданности. Готовый к услугам С. Макаров...» [5].

В мае 1900 года судьба вновь привела Бориса Павловича в полярные широты — он был участником второй русско-шведской геодезической экспедиции по измерению линейной длины дуги земного меридиана на островах Шпицбергена, которая осуществлялась на средства Российской академии наук. За работу в этой экспедиции в 1902 году Б. П. Осташенко-Кудрявцев был награжден орденом Святого Станислава I степени.

В 1901–1902 годах Борис Павлович был командирован в Одесское отделение Пулковской обсерватории для наблюдений на вертикальном круге Репсольда. Каталог звезд на эпоху 1900.0 был опубликован в «Трудах» Пулковской обсерватории [6]. Эта работа была удостоена медали Русского астрономического общества «За лучшее сочинение по астрономии, вышедшее в России в 1907 году».

В 1907 году Борис Павлович направлен в двухмесячную заграничную командировку для ознакомления с обсерваториями Европы, а в следующем году участвовал в работе съезда Международного астрономического общества в Вене. После того, как в 1909 году дирекция Пулковской обсерватории с удовлетворением встретила предложение Морского ведомства передать в собственность ГАО Морскую астрономическую обсерваторию в Николаеве [7], пулковский адъютант-астроном Б. П. Осташенко-Кудрявцев был командирован в Николаев в качестве заведующего для осуществления всех задач, связанных с ликвидацией

Морской обсерватории и созданием на ее месте Николаевского отделения ГАО. Самые первые впечатления после переезда в Николаевскую обсерваторию Борис Павлович с юмором описал в небольшом рассказе «Тараканы».

В 1909–1911 годах обсерватория еще находилась во владении Морского ведомства, и на заведующего временно были возложены обязанности морского астронома. Они включали точное определение времени и показание его судам сигналом (раз в сутки), поверку хронометров и всех астрономических инструментов, отпускаемых на суда порта, и составление аттестатов хронометрам по результатам их проверки [8].

Официальное открытие Николаевского отделения ГАО состоялось 22 сентября 1913 года. К этому моменту из Одессы были перевезены меридианные инструменты и установлены в специально построенном для них павильоне. Для развертывания астрографических работ в ирландской фирме Гребба был заказан 32-дюймовый рефрактор. В апреле 1909 года на международном конгрессе в Париже было принято решение о начале кооперативной работы обсерваторий по фундаментальному определению координат большого числа звезд, равномерно распределенных по всему небу, причем Николаевская обсерватория была намечена как один из важнейших участников.

Осуществлялись планы по строительству и ремонту зданий обсерватории и обустройству территории. Случались порой и природные катаклизмы, наносившие ущерб обсерваторскому хозяйству. Одному из таких событий, очевидцами которого стали вместе с Борисом Павловичем его мать и сестра, проживавшие с ним в директорской квартире в Главном здании Обсерватории, посвящен рассказ «Тропическая гроза в Николаеве».

Но гораздо больший ущерб развитию и жизнедеятельности Обсерватории нанесли потрясения в жизни общества, связанные с военными и революционными событиями. В 1918 году Обсерватория находилась в зоне боевых действий Гражданской войны, результатом чего была неоднократная смена власти в Николаеве. Катастрофическое положение в Обсерватории возникло из-за отсутствия связи с Пулковской обсерваторией, что привело к полному отсутствию финансирования. Поставленной на грань выживания Обсерватории удалось выстоять благодаря огромным усилиям ее заведующего, направленным на открытие временных

кредитов со стороны украинского правительства, а впоследствии восстановлению связи с Пулковской обсерваторией. Однако положение обсерватории оставалось крайне тяжелым и в начале 1920-х годов: из-за отсутствия кредитов на ремонт начался общий процесс прогрессивного разрушения зданий, павильонов и оборудования.

Обсерватория в Николаеве, как единственное в то время подобное научное учреждение, привлекала внимание населения Николаева и принимала участие в общественной жизни края. После революционных событий ее заведующий Б. П. Осташенко-Кудрявцев занял активную жизненную позицию и помимо научной и организационной деятельности в обсерватории вел педагогическую и общественную работу. Об этом спустя четверть века он рассказывает в «Николаевских впечатлениях», написанных в 1950 году во время посещения города Николаева, едва оправившегося от разрушений Великой Отечественной войны.

Работая в Николаевской обсерватории, Б. П. Осташенко-Кудрявцев познакомился со своей будущей женой Ольгой Николаевной Яровицкой (1896–1964), внучкой известного героя Крымской войны, вице-адмирала М. К. Селистранова. Она от природы была наделена большим художественным талантом и чудесно рисовала. В мае 1919 года они поженились. Борис Павлович имел огромное желание дать высшее специальное художественное образование своей талантливой жене, что было реально лишь при условии жизни в столице. В апреле 1923 года в семье Осташенко-Кудрявцевых родилась дочь Зоя, и вскоре, получив приглашение на должность старшего астронома в Харьковскую обсерваторию, Борис Павлович с семьей переехал в Харьков. Окончив в 1929 году Харьковский художественный институт, Ольга Николаевна впоследствии стала известным украинским скульптором. Б. П. Осташенко-Кудрявцев также успешно продолжил свою научную и преподавательскую карьеру в Харькове. Супруги Осташенко-Кудрявцевы прожили нелегкую, но интересную жизнь, пережив эвакуацию в Алма-Ате в годы Великой Отечественной войны, и внесли существенный вклад в развитие науки и культуры в Украине. Борис Павлович всего три месяца не дожил до 80-летнего юбилея и ушел из жизни 1 октября 1956 года. Ольга Николаевна пережила своего мужа на 8 лет и скончалась в 1964 году.



Основные даты жизни и деятельности

Б. П. Остащенко-Кудрявцева

- 28 декабря 1876 г. Родился в семье архитектора в С.-Петербурге (9 января 1877 г.)
- Весна 1894 г. Окончил Третью петербургскую классическую гимназию с золотой медалью
- 1894–1898 гг. Учился в С.-Петербургском университете, окончил с дипломом I степени
- Лето 1896 г. Участвовал в научной экспедиции по исследованию Курской магнитной аномалии
- 1 июня 1898 г. Принят на постоянную работу в Пулковскую обсерваторию на должность «сверхштатного» астронома
- 1899 г. Участвовал в полярной экспедиции на ледоколе «Ермак» под руководством С. О. Макарова
- 1900 г. Участвовал в градусных измерениях на о. Шпицберген
- 1901–1902 гг. Работал в Одесском отделении Пулковской обсерватории
- Ноябрь 1902 г. Назначен на должность адъюнкт-астронома Пулковской обсерватории
- 1903 г. Награжден орденом Святого Станислава I степени за участие в градусных измерениях на о. Шпицберген
- 1907 г. Награжден медалью Русского астрономического общества «За лучшее сочинение по астрономии, вышедшее в России в 1907 году»
- 18 мая 1909 г. Назначен заведующим Обсерваторией в Николаеве
- 1909–1913 гг. Исполнял обязанности морского астронома Черноморского флота

- 23 января 1913 г. Присуждено звание старшего астронома
- 1913 г. Награжден орденом Святой Анны II степени
- 1917 г. Награжден орденом Св. Владимира III степени
- Осень 1917 г. Участвовал в создании Николаевского народного рабочего университета
- 1918 г. Избран ректором Николаевского матросского университета
- 1919 г. Назначен председателем комиссии по охране памятников искусства и старины в Николаеве
- 1919–1923 гг. Профессор Николаевского института народного образования
- 1922 г. Присвоено звание Героя Труда
- Осень 1923 г. Переехал в Харьков
- 1924–1929 гг. Работал консультантом и учёным специалистом в Украинском геодезическом управлении
- 1930–1934 гг. Заведовал картографическим сектором Украинского научно-исследовательского института геодезии и картографии, затем — кафедрой в Харьковском инженерно-строительном институте
- 1935 г. Утвержден ВАК в ученом звании профессора
- 1936 г. Присуждена ученая степень доктора физико-математических наук
- С 1940 г. Заведовал астрометрическим отделом Харьковской обсерватории
- Сентябрь 1941 г. Эвакуировался с семьей в Алма-Ату
- 1941–1944 гг. Профессор Горно-металлургического института в Алма-Ате
- Осень 1944 г. Возвратился в Харьков, заведовал астрометрическим отделом обсерватории и кафедрой высшей геодезии Харьковского инженерно-строительного института
- 1952 г. Присвоено почетное звание Заслуженного деятеля науки Украинской ССР
- 1953 г. Награжден Орденом Ленина
- Сентябрь 1955 г. Заведовал кафедрой маркшейдерского дела Харьковского горного института
- 1 октября 1956 г. Умер в Харькове



Памятная записка

Павел Иванович Остащенко-Кудрявцев поступил учеником к профессору Монигетти, а потом до самой его смерти был помощником, участвуя во всех художественных работах, как-то при переделке мраморной лестницы в Царскосельском дворце, за что получил из кабинета Его Величества бриллиантовый перстень в 250 рублей; в Крыму, в имении Ея Императорского Величества Ливадии, принимал участие в перестройке дворца, в постройке церковного дома Великих Князей и дома для свиты и т. д., за что был награжден золотыми часами из кабинета Его Величества и 1000 рублями из Департамента Уделов. По приезде из Крыма Павел Иванович получил звание Свободного художника Архитектуры, выдержав предварительно экзамен в Академии художеств.

Затем участвовал с профессором Монигетти в художественных работах в Аничковском** дворце по отделке лестницы, библиотеки, за что получил награду — бриллиантовый перстень. Кроме того, Павел Иванович участвовал в частных работах в доме Воронцова на Мойке, Строганова и Бярятинского на Сергиевской и принимал участие в художественной отделке Императорских яхт «Держава» и «Ливадия», за что был награжден из Морского министерства 500 рублями.

После смерти профессора Монигетти Остащенко-Кудрявцев занимался составлением проектов: церквей, домов, дач, мебели, бронзы, золотых и серебряных вещей, составлением смет и другими работами. По приглашению Председателя технического общества Петра Аркадиевича Кочубея участвовал в декорации Русского отдела на Венской выставке. С открытия школы технического рисования Барона Штиглица Кудрявцев приглашен ди-

* Отец Б. П. Остащенко-Кудрявцева.

** Впоследствии: Аничков дворец.

ректором школы Господином Месмахером преподавателем рисования и тушевки орнаментов кистью и пером. В настоящее время Остащенко-Кудрявцев делает художественные рисунки для Императорской гранильной фабрики по заказам директора фабрики Андрея Леонтьевича Гуна.

Так как заработок от школы и частных работ недостаточен для большого семейства, а художественные работы в настоящее время плохо оплачиваются, то Павел Иванович Остащенко-Кудрявцев желал бы места Архитектора или смотрителя с определенным жалованием и квартирою при каком-нибудь казенном здании в Петербурге.

25-го Июля 1888.

*Жительство: Сергиевская,
близ Таврического сада, № 75, кв. 12*

**Из воспоминаний
Б. П. Остащенко-Кудрявцева**



Воспоминания детства. Мои родители

Часть I

Мой отец, Павел Иванович Остащенко-Кудрявцев, родился крепостным 29 июня 1839 года (*по документам — 1-го июля. — З. О.-К. **) в селе Ивановском Львовского уезда Курской губернии, принадлежавшем помещикам — князьям Барятинским. Двойная фамилия моего отца произошла, по-видимому, от того, что в большом селе, где он жил, фамилия Остащенко была очень распространенной, а кличка «Кудрявец» дана была ему односельчанами за роскошную шевелюру. Впоследствии прозвище Кудрявец превратилось в русскую фамилию Кудрявцев. Родным языком его был украинский. «Кобзарь» Шевченко был у него всегда под рукой среди других книг его, напечатанных на украинском языке; особенное любопытство возбуждала у меня своим заглавием [книга] «Нехрещеный поп». (*Рассказ с таким заглавием есть у Лескова. — З. О.-К.*) Дед мой по отцу, Иван Тихонович, был в каком-то привилегированном положении у своего помещика и занимался у него счетоводными и хозяйственными делами. О жене его, моей бабушке, я ничего не знаю, кроме того, что отец мой очень горячо любил свою мать, говорил об ее бесконечной доброте и заботился о ней до самой ее смерти (мужа своего она пережила на много лет и умерла в первой половине 80-х годов)...

Мой отец обнаружил с детства большой талант к рисованию, и «просвещенный помещик» устроил его учеником у знаменитого тогда архитектора Монигетти, строителя дворцов в Ливадии, на Южном берегу Крыма, давшего ему образование и подготовку для поступления в Академию художеств, а впоследствии сделавшего его своим сотрудником. Аттестат на звание свобод-

* Здесь и далее примечания, сделанные дочерью Б.П. Остащенко-Кудрявцева, Зоей Борисовной, при перепечатывании рукописных текстов.

ного художника-архитектора отец мой получил от Академии художеств в 1867 году. В нем указывается на «право его пользоваться на основании Всемилостивейше дарованной Академией привилегии вместе с детьми и потомками совершенной свободой и вольностью и поступить на службу, какую пожелает».

Возвращаюсь к периоду ученичества моего отца у Монигетти. Уроженец Италии (*Монигетти родился в России. — 3. О.-К.*), архитектор Ипполит Антонович Монигетти своими постройками нажил себе в России большое состояние, приобрел себе несколько доходных имений в разных местах, имел великолепную дачу в Ливадии, другую, не менее роскошную, в Царском селе и вообще жил большим баринком...

Я хорошо представляю себе, какая атмосфера царила в доме Монигетти, в которой очутился мой отец, когда он из крестьянского мальчика превратился в культурного молодого человека с либеральными взглядами... Из книг моего отца, помимо большой художественной библиотеки и знаменитых грамматики Магницкого и арифметики Смотрицкого, (по которым он учился), сохранились две: Льюис «Философия Канта» и Жанэ «Конечные причины». Они свидетельствуют о том, какие вопросы интересовали моего отца в 80-х годах. Еще один штрих: он не верил в Бога, не ходил в церковь, не молился и не бывал у исповеди. С другой стороны, все воспитание детей предоставлял своей жене, не вмешиваясь в то, что она внушала детям религиозность, хотя и не любила попов и не соблюдала посты. Ко всему здесь сказанному надо прибавить, что отец мой был неподкупно честным человеком. В то время, как все его товарищи, менее талантливые, нажили себе целые состояния, он не допускал даже и мысли о каких-либо взятках (об этом хорошо знали все подрядчики) и умер 53-х лет отроду, не оставив семье ни копейки денег, ни долгов.

Моя мать, Елизавета Густавовна, урожденная фон Ленц, происходила из старинной дворянской семьи. Ее отец был блестящим конно-гренадерским полковником, ведшим свою родословную с 15 столетия от Юлиуса Ленца, бывшего суперинтендентом (лютеранским епископом), «ученейшим мужем и известным писателем», жившем в имперском городе Регенсбурге. На гербе его красуется тот же девиз, как и у Тихо Браге: «Esse non videri!» — «Быть, а не казаться!». Его потомком по прямой линии был поэт и писатель Ленц, бывший в дружеских отношениях с Гёте

и написавший одновременно с Клингером «Фауста» раньше Гёте (этот сюжет был тогда в моде).

Когда Ленцы переселились в Лифляндию, мне неизвестно. Там у них было родовое имение Рингмундсгоф близ Риги, отличающееся необыкновенной красотой местоположения. Отпрыском этой семьи был известный физик, академик С.-Петербургской Академии наук Э.Х. Ленц. По родословной и приложенному к ней генеалогическому дереву было видно, что Густав Васильевич (Вильгельмович) Ленц считался представителем этого рода по прямой линии. Брат его, Василий Васильевич, был известный в свое время музыкальный критик...

Во всей родословной семьи фон Ленц не фигурирует ни одной русской фамилии. И вдруг Густав Васильевич влюбился в совсем молоденькую девочку, только что окончившую Смольный Институт, Анну Федоровну Гаврилову, дочь Пензенского Губернатора, и женился на ней. Правда она была также старинного дворянского рода не по отцу, который являлся выслужившимся чиновником из более мелких дворян (как он себя вел на посту губернатора, мне совсем неизвестно), а по матери, Екатерине Степановне Поповой, ведшей свое происхождение от какого-то татарского князя... Бабушка моя обладала очень властным характером и держала своего мужа в руках. У нее было двое сыновей и две дочери. Моя мать была старше их всех. Дед мой, Густав Васильевич, занимал пост помощника Почт-Директора Петербургского почтамта. Он был богатым человеком, жил очень роскошно, имел огромную, хорошо обставленную казенную квартиру, множество лакеев, держал своих лошадей. Однако, это его состояние в несколько сот тысяч было нажито... взятками (говорят, за право быть почтальоном надо было платить начальству). Густав Васильевич был горячим, до энтузиазма, поклонником Николая I; написал несколько недурных музыкальных произведений (подражание Шопену) и устраивал у себя дома концерты, приглашая знаменитостей.

Родился я в Петербурге близ Вознесенского моста по Екатерининскому каналу, в доме Китнера № 83*, в четвертом этаже — квартира № 13, 28-го Декабря 1876 г. по старому стилю, в час

* В настоящее время это дом № 81 по каналу Грибоедова [9].



В этом доме по адресу Екатерининский канал, 83 (сейчас канал Грибоедова, 81) родился Б. П. Остащенко-Кудрявцев

ночи. Крестил меня поп из Вознесенской церкви. Я смутно помню его строгий облик, с длинной седой бородой, ибо он крестил Владимира и Николая. Крестины мои прошли шумно и весело. «Аристократические» бабушка и дедушка (мамины родители) были за границей, где проживали в рулетку последние деньги. Моей крестной матерью была сестра бабушки, тетя Лёля, как мы ее звали, так и оставшаяся не замужем, человек кристальной чистоты душевной. Родители мои ее очень любили. Она была классной дамой в Смольном. Крестным был доктор Маев, тогда только начинавший свою карьеру, впоследствии очень известный врач по кожным болезням.

...Таким образом, мама моя, вращаясь среди «разночинцев», сама демократизировалась и никогда не была близка со своей матерью, моей бабушкой, Анной Федоровной фон Ленц, очень черствой и эгоистичной особой. С момента выхода из Института, будучи совершенно независимой и самостоятельной, мать моя, Елизавета Густавовна, сама зарабатывала и жила на свои деньги, давая частные уроки или живя в чужих домах в качестве гувернантки. До конца жизни она давала уроки. Всех нас учила сама.

...Первое мое воспоминание связано с рождением Владимира, 20-го Октября 1878 года. Это почти невероятно, ибо мне было меньше двух лет. Но приходится этому поверить, потому что я твердо помню ту обстановку, которая соответствовала тому моменту, когда мне сказали, что «у меня родился брат». Тогда большая комната, выходящая на двор, была разделена серой тяжелой драпировкой на две части, в большей из них находились кровати, в меньшей стоял стол, где мы обедали с папой и перекликались с мамой. За обедом было новое для меня блюдо, и меня учили говорить: «голубцы». Того момента, когда мне показали новорожденного маленького братца, я совсем не помню... В противоположность моим крестинам, носившим демократический характер, крестины Владимира были высоко аристократическими и парадными. Как раз к этому времени прибыли из-за границы родители моей матери, и бабушка соизволила возыметь желание крестить Владимира сама. Ей надо было подыскать подходящего партнера. Таким оказался Кочубей — меценат, звали его, кажется, Петр Аркадьевич. Он очень ценил талант моего отца и поддерживал его заказами — то стильной мебели для своего кабинета, то проектом часовни для своего имения. Крестины Владимира я абсолютно не помню, и Кочубея, как кажется, после этого ни разу в жизни не видал. Знаю, что у него были сын и дочь, которая умерла в цвете лет от дифтерита.

Дед мой, Густав Васильевич фон Ленц, был полковник Конной Гвардии, помощник Почт-Директора, очень властный военный бюрократ, считавший Николая I верхом совершенства. Однако перед своей женой он пасовал и слушался ее во всем. Мы, дети, его боялись, как огня. Хотя он и относился к нам ласково, но нас всегда предупреждали, что в присутствии бабушки нельзя шуметь и даже громко разговаривать... И несколько более громко сказанное слово за обедом или какой-нибудь лишний жест вызывали гневное выражение его глаз и затем пристальный недовольный, как бы угрожающий взгляд, после которого нельзя было не присмиреть.

Бабушка, Анна Федоровна, вышла за него замуж по страстной любви тотчас же по окончании Института. Она была дочерью Пензенского Губернатора Гаврилова, мать ее, Екатерина Степановна, была урожденная Попова. Говорят, красивый гвардейский офицер, проезжавший на лошади мимо окон, пленился юною девушкой, перешедшей очень быстро от кукол к живым

детям: две дочери и два сына последовали один за другим. Как они воспитывали детей и что из них вышло, об этом стоит рассказать отдельно. В общем, бабушка и дедушка, избавившись от детей, прожигали жизнь за границей, и возвратились потому, что проиграли в рулетку последние деньги. Дедушка был в это время в отставке, в чине генерал-майора, и я его иначе не видел, как в штатском. Вероятно, в этой отставке не последнюю роль сыграла бабушка, а вернее, что она была вынужденной — кажется, что дедушку просто накрыли на взяточничестве, которое процветало тогда в почтамте, но, должно быть, превзошло всякую меру.

...В каком году случилась со мной эта страшная болезнь? Во всяком случае я был лишь на волосок от смерти и лежал много дней без сознания... Помню, как я очнулся на широкой постели. Около нее на ночном столике горела зеленая лампа. В комнате, как мне показалось, было много людей, говоривших между собой шепотом. Очевидно, ждали моего пробуждения... Кто-то сказал: «Будет жив!». И снова сознание покинуло меня. У меня был нарыв где-то в полости носоглотки, в малодоступном месте. Через нос каким-то нагретым крючком пропихивались «жгутики» из ваты, впитывавшие в себя гной. Это была очень болезненная операция, я дико кричал и снова терял сознание. Вероятно, это мучение повторялось и тогда, когда я был без сознания... Так или иначе, меня спасли. Я помню себя раз очнувшись на маминой кровати. Было яркое солнечное утро. Папа брился перед зеркалом. Надо сказать, что папа дома, когда не было гостей, ходил в халате. Если он уходил куда-нибудь, одевал сюртук; он запирался в спальней, чтобы одеться и побриться, причем мне строго запрещалось входить туда. И вообще, я никогда не видел раньше, как папа брился, и поэтому с большим интересом смотрел. Пришла мама, увидела меня веселым и здоровым и крепко поцеловала меня. С этого момента выздоровление шло вперед быстрыми шагами... Однако, болезнь не прошла мне даром! С некоторого времени близкие начали замечать, что я поворачиваю, когда со мною разговаривают, левое ухо. Оказалось, что правым ухом я не слышу совсем. Лечил меня и героическими средствами спас от гибели доктор Крашевский, приятель моего отца, впоследствии крестный отец Нади. Почему это со мной приключилось и долго ли я болел, не знаю. Мне кажется, что все это было до рождения Николая, ибо родители занимали тогда ту комнату,

которая сделалась потом детской, выходящую на улицу, вернее, на Екатерининский канал. Думаю также, что это раньше было, чем я научился читать, ибо перерыва в моем умении, насколько я помню, не было. Вероятно, это случилось весною 1880 года — следовательно, мне тогда было 3 года с небольшим...

Научился я читать, писать и считать рано, мне не было и четырех лет. Учила меня мама, прекрасная учительница, по звуковой системе, тогда еще мало известной, по кубикам. Учился я шутя и очень быстро одолел искусство чтения. Очень смутно помню грудку кубиков, из которых я составлял слова. Писать я учился гусиным пером, всегда был набор таких перьев, которые чинились, а затем кончики их раздваивались. У меня долго сохранялись первые тетради, которыми я дорожил и показывал всем. Их содержания и расположения не помню. Мне представляется смутно, что первая тетрадь по арифметике была без линеек и большей величины, чем другие тетради, по-видимому, самодельная. Были ли тогда промокашки, не помню, кажется, были... Назывались они — «протечная бумага». В коробке хранился набор ярких-преярких облаток, которые слюнили губами и заклеивали ими конверты, бывшие тогда без клея. Кажется, такими облатками закрепляли и промокашки при помощи ленточек, а сверху облаток наклеивали картинки, изображавшие зверей, девочек и т. п. Когда именно я начал писать стальным пером, не помню. В 1881 году я читал и писал уже вполне свободно.

...Елка у нас устраивалась обычно в день моего рождения — 28-го Декабря. Я хорошо помню елку 1880 года, когда мне исполнилось 4 года. Она стояла в первой комнате — гостиной. Было много гостей, были какие-то гигантские хлопушки, из которых доставались целые костюмы... Было очень весело... В этой комнате стоял рояль. Елку отодвинули в угол у входа, а в освободившейся части комнаты и соседней танцевали. Я особенно заинтересовался фигурой (кадрили) «changez des dames», ибо кадрили шла одна за другой. Я тогда только что научился читать и писать и с гордостью показывал гостям свои первые тетради... Таким образом, четырех лет отроду я не только писал, читал и считал, но и танцевал кадрили. Когда я научился танцевать другие танцы — совершенно не помню...

Мне памятно начало 1881 года, незадолго перед этим мне исполнилось 4 года. Я умел уже читать и писать и был созна-



Отец Павел Иванович



Мать Елизавета Густавовна

тельный мальчик. Папа и мама сидят в гостиной — или, вернее, это был папин кабинет — на диване, и мама плачет. Над ними висят новенькие портреты, которых я раньше не видел: это был Александр II и его «Августейшая» супруга Мария Александровна, умершая ранее. Мне сообщили, что это царь, которого недавно убили революционеры. А что такое революция? Чего хотели они, убивая царя? Я узнал, что и во Франции была революция, и что тогда не только убили царя, но и казнили многих... Все это было для меня ново и непонятно... Мама много раз видела Александра II, когда он посещал ее институт (благородных девиц), и рассказывала, какой он был красивый, бравый и обаятельный. Об истинном смысле этих частых посещений Смольного института царем я узнал лишь впоследствии... Город оделся траурными флагами. Меня повели на Конюшенную площадь. Там стояла огромная палатка — временная часовня, где горело множество свечей и где было большое количество духовенства. Служились панихиды. К самому месту убийства не подпускали. По городу ездили кареты, обитые траурными материями, с траурными лакеями на запятках. Я допытывался у матери, не может ли быть у нас революции, и что мы будем делать, если начнут «казнить»? Мама отвечала, что надо будет, может быть, уехать «за границу». Опять новое слово! Что это за «заграница» такая? В конце Вознесенского и Измайловского проспектов (который служил продол-

жением первого) высилась какая-то каланча. Я спросил маму, что это такое? — «Это и есть тот вокзал, откуда едут «заграницу»! Другое слово, которое повторялось на каждом шагу: «в Бозе почивший». Почему в Бозе, когда он умер в Петербурге? Мне объяснили... Потом были журналы, изображавшие похороны царя... Там были филиппики против «злодеев-убийц» — «извергов рода человечества». «Царь-освободитель» изображался среди крестьян, которым он якобы читал манифест об их «освобождении». Так началось мое знакомство с политикой.

29 Марта 1881 года по старому стилю родился Николай. Помню, как мне показали его в первый раз, лежащего в кровати, со всех сторон ограниченной веревочной (шнуровой) сеткой. У меня сетка с одной стороны была вынута. После этого детская была переведена на то место, где была спальня родителей. Меня поместили в угол; сзади стены, примыкавшей к этому углу, была уборная, облицованная деревом, с огромным баком наверху, находившимся в деревянном ящике, наполнявшимся, вероятно, от водопровода, ибо там днем и ночью журчала вода. В ночной тишине через стену это журчанье было слышно и иногда мешало мне спать, или навевало страшные сны. Мне иногда снилось, что за мной гонится «гречная смерть» — откуда я взял такое название, не знаю... Но это был скелет, и я мчался по каким-то коридорам, спускался по лестницам, потом снова поднимался, и все слышал сзади страшные шаги. Однажды я ворвался в комнату, где сидел какой-то «горчичный человек». С другой стороны меня хотели обступить чудовища, или страшные звери неведомых пород, или же гигантские пауки, раки и другие страшилища...

Раннего детства Николая я совсем не помню. Все время мы проводили с Владимиром, который был на 2 года моложе меня. Почему-то городская жизнь того времени совершенно стерлась из памяти, все эпизоды, которые запомнились, относятся почти исключительно к пребыванию на даче.

Помню, мы любили мятные пряники. Они были двух цветов: белого и розового. Изображали они кошек, лошадей и баранов. Копыта и рога были позолочены сусальным золотом. Их покупали в каких-то больших воротах у входа в баню на Вознесенском проспекте. Вдали высилась каланча вокзала, из которого поезда везут в «заграницу». Особенно ждали мы весной булочек под

названием «жаворонки», продававшихся в Великом посту, с изюминками вместо глаз, и появление их приветствовали.

...Часто у нас бывала мамина бывшая классная дама по Смольному. Судя по рассказам о ней мамы, а также впоследствии и других, это была старая дева, муштровкавшая институток и доводившая их до бесчувствия. Однако, маму она душевно любила и к нам, детям, относилась с большой нежностью, и право, трудно было представить себе нами любимую «тетю Душу» в роли изверга (рода) человеческого. Очевидно, у нее была потребность любить, но эта любовь была направлена только в одну сторону. Звали ее Евгения Федоровна Григорьева. Два раза в год — 1-го Марта (именины) и 1-го Октября (день ее поступления на службу) — она принимала в Институте, и в эти дни брали туда меня, иногда вместе с Владимиром, и мы бегали по дортуару воспитанниц тети Души, стараясь угадать по содержимому открытых ящиков, аккуратно сложенному, какая из девочек лучше всех. Тетя Душа называла маму всегда «Лизочкой». Она дожила до глубокой старости, была страшно религиозна: ездила на Афон, в новый Иерусалим, Киево-Печерскую Лавру и т. д. и с восторгом рассказывала об этих местах. Умерла она тогда, когда я был уже совсем взрослым гимназистом, а может быть, и студентом, от заворота кишки.

У нас часто бывала старушка, жившая в верхнем этаже, вдова, пенсионерка, Татьяна Петровна Беккер. Муж ее был немец, она же была чисто русская. Он был родственник Струве, и она любила рассказывать о посещении своем Пулкова и о том, что «сам Струве» ей преподнес на прощание огромный букет роз. Она жила одиноко, сама вела свое хозяйство, когда уходила, вешала на дверь огромный замок. Иногда я заходил к ней в гости. Особенно привлекал мое внимание огромный ртутный барометр в оправе из красного дерева, где на серебряной пластинке было выгравировано: «Великая сушь», «Переменно», «Дождь», «Великий дождь», «Буря». Татьяна Петровна также дожила до очень глубокой старости. Она продолжала приходить к нам и после (нашего) переезда из дома Китнера на новую квартиру, который произошел в 1884 году и с которого начинается новый период моего детства. Татьяна Петровна очень меня любила — после ее смерти в бумагах ее нашли мои каракули и первые рисунки, которые она сохраняла очень тщательно.

Часто бывал у нас Сергей Христианович Шредер. Мы, дети, называли его просто «Сережа» и были с ним на ты. Это был бывший мамин ученик, славный мальчик. Когда мои родители поженились, то первые годы жили на квартире в Новом Переулке в огромном доме, выходившем также на Казанскую, принадлежащем Яковлевым, потом Жербиным. Квартира выходила во двор, довольно крутая лестница была без перил. Случилось несчастье — в пролет лестницы какой-то мальчик упал вниз и разбился. Это всполошило всех живущих на этой лестнице — и все между собой познакомилось. Так началось знакомство с доктором Крашевским, жившим этажом ниже. Так началось знакомство и со Шредер. Отец Сережи был седельный мастер, датчанин — его уже не было на свете в те времена. Софья Христиановна, сестра Сережи, была гораздо старше его, говорят, в молодости была красавица, но так и не вышла замуж и служила в ж.д. конторе. Мама взялась готовить Сережу в гимназию, конечно, бесплатно. Потом он поступил во вторую («Казанскую») гимназию, но ее не кончил, ибо принужден был сам зарабатывать себе хлеб. Он был знаком и с молодыми Жербиными. Подругой его детства была Маничка Шмидт, девочка, жившая на том же дворе, и рано, чуть (ли) не 16 лет вышедшая замуж. Интересно отметить, что со всеми этими лицами, о которых я раньше только слышал от мамы, мне пришлось случайно познакомиться уже много лет спустя — в Николаеве!

Не могу не вспомнить, что каждый месяц, регулярно, к нам приходил старый-престарый настройщик рояля Гейнеман, с седой бородой и трясущимися руками. Уши у него всегда были заложены ватой. Он вынимал камертон, ударял его о рояль и затем подносил к моему уху... После этого он неизменно касался им кончика уха: «Слышишь, мушка жужжит?» Становилось щекотно, действительно, раздавалось: «ж-ж-ж-ж...», и старик радовался своему остроумию. Когда и как я начал учиться играть на рояле, совершенно не помню. Знаю, что учила меня мама и что учиться я начал очень рано, так что довольно бойко играл какие-то детские пьесы...

Дедушка к бабушка жили «на углу Кузнечного и Ямской» (так писалось в письмах) в доме Кольмана. Я никогда не мог понять этого адреса, ибо от угла это был по Ямской четвертый или пятый дом. Против дома посреди улицы, как это было тогда во многих

местах Петербурга, находился деревянный домик, называемый будкой, где жил полицейский. В этом месте загромождали улицу не одна даже, а две таких «полицейских будки». Они окрашивались светло-коричневой краской и представляли собой целые квартиры — виднелись занавесочки и герань на окнах. Пока был жив дедушка, маму засаживали за пианино и заставляли играть, причем дедушка стоял сбоку и дирижировал рукою, причем, если что-нибудь было ему не по норову, он весь содрогался, и вся фигура его выражала неудовольствие и даже страдание. И каково было мое изумление, когда однажды дирижирующими оказались два дедушки. Вторым был не так красив, тяжел и с мутным взглядом. Это был брат Густава Васильевича — Василий Василиевич, известный музыкальный критик, друг Листа и Серова, человек энциклопедичный, говоривший на 18 языках. Дедушка Густав Васильевич был композитором и также претендовал на глубокое знание музыки. При таких условиях игра мамы превращалась в страдание, она чувствовала себя маленькой девочкой, сдающей урок. У дедушки было несколько «opus'ов», часть их напечатана. Его мазурки, *Feuille d'albom*'-ы (*Листки из альбома*. — З. О.-К.), вальс были подражанием Шопену. Была еще рукопись «*Chant sans paroles*» (*Песня без слов*. — З. О.-К.), которая очень мне нравилась, но она потом была утеряна...

Еще были родственники, к которым меня изредка возили, жившие в Михайловском дворце, где ныне музей и картинная галерея. Название дворца — по Михаилу Павловичу, младшему брату Николая I; он тогда принадлежал Великой Княгине Екатерине Михайловне, бывшей тогда в глубокой старости. Очень важный пост при ее дворе занимал Алексей Федорович Нумерс, двоюродный брат моего дедушки. Род фон Нумерсов был такой же древний, как и род Ленцев... Алексей Федорович был женат на русской. Я помню эту некрасивую, маленькую и очень любвеобильную старушку, которая закармливала до невероятности всех, кто попадал в ее руки, и непрерывно повторяла: «Кушайте, кушайте, кушайте!». Комнаты в квартире Нумерс были сводчатые, окна были широкой полукруглой формы. Квартира очень просторная. Туда однажды пришла дама, про которую сказали, что она «фрейлина» Великой Княгини. Когда я потом спросил маму, она объяснила, что фрейлина собственно значит горничная. Я был очень удивлен, что такая шикарная дама, и вдруг считает

для себя большою честью считаться горничною. Я спросил — действительно ли она прислуживает за столом? Мама меня успокоила, что это «только титул».

Ленцы считали в числе своих предков известного поэта, «друга Гёте», и гордились этим. Но род свой считали еще более древним. В каком родстве с ними был известный русский физик, академик Ленц, я так и не мог дознаться. Сохранилось у меня даже их генеалогическое дерево, но в него входят только представители фамилии по прямой линии, а также все, которые связаны с ним свойством. Я говорю, главным образом, о тех, с которыми я когда-либо встречался в жизни.

Надо сказать несколько слов и о тете Леле, моей крестной матери, сестре бабушки. Ее болезнь ног прогрессировала. Я еще смутно помню, как раз с мамой был у нее в Смольном, в то время как она была еще классной дамой. В каком году она вышла в отставку, не помню. На даче у нас она больше не появлялась. Она получила комнату во «вдовьем доме», и там ее мы навещали. Положение с ногами становилось у нее все хуже, и затем долгое время мы ее неизменно видели сидящей на диване, с которого она так и не вставала более. Она живо интересовалась всем и проводила время в раскладывании пасьянсов, вышивках по канве и чтении Четьи-минеи, которые были у нее в полном комплекте и которые я, заинтересовавшись, тоже читал. Она хранила у себя какой-то мозаиковый портфель и постоянно повторяла, что после ее смерти его немедленно надо вручить мне. Она умерла значительно позже, а портфель у мамы украли из-под носа. Что было в нем, я так никогда и не узнал.

В дни праздников, а также на именины и день рождения дети имели право сами себе заказывать меню обеда. Любимыми моими блюдами были: молочный суп с клёцками и шоколадный кисель. Обычно клёцки возбуждали у меня с Владимиром большую веселость: было даже специфическое выражение «проглотил клёцку», сопровождаемое всегда хохотом. Мама заказывала в торжественные дни большой крендель с инициалом имени виновника торжества — розовым с белым. Эта часть кренделя съедалась обязательно самим именинником, или новорожденным только тогда, когда весь остальной крендель был уже доеден. Утром в такие дни преподносился виновнику торжества также и блеккухен, т.е. сладкий пирог с кремом и с миндалем и с цу-

катами. За обедом перед супом подавался также пирог с сигом и с визигой, или с морковью. Такой ритуал сохранялся в нашей семье и во все следующие годы. Чего я никак не мог есть — это телячьей печенки — к ней я чувствовал всегда отвращение. Родители пытались насильно заставить меня ее съесть, не помогало... Приготовляли для меня печенку обманным путем под разными соусами и давали пробовать, но кончалось (это) всегда очень плачевно — рвотой. Удивительно, но мои братья и сестра едят всегда печенку с удовольствием. И во многом мои вкусы не сходятся с их вкусами. Например, я никогда не любил играть в солдатики — мои братья, наоборот, увлекались этой игрой. «Кзаки и разбойники», «палочка-воровка» и тому подобные игры меня никогда не увлекали. В те времена практиковались иногда массовые игры девочек и мальчиков в общественных садах. Помню, однажды меня повели гулять в Никольский сквер. Старинная Никольская церковь — поблизости от Мариинского театра — звонили во все колокола — вероятно, это было после пасхи. Подошли две девочки, сделали глубокие реверансы: «Мальчик, не хотите ли играть с нами в кошки-мышки?». Они взяли меня за руку и повели на площадку, где собирались со всех сторон дети. Только тогда я заметил, что одна из девочек — Ляля Гун. Такой торжественный подход девочек с реверансами был тогда в обычае — собиралось много детей, часто совсем незнакомых друг другу, и играли очень весело. Конечно, родители и няни следили, вероятно, за тем, чтобы в таких играх принимали участие только хорошо одетые дети. Но я этого не замечал, ибо мне лично специально этого не внушали. Одною из любимых игр была игра в краски. Самыми лучшими считались: «золотая», «серебряная» и «поднебесная». Все дети напереерыв старались забрать их первыми.

Около этого времени стал издаваться детский журнал «Задуманное слово», начавший выходить, если не ошибаюсь, с ноября 1881 года. Я с удовольствием читал его, ибо к дню рождения мне подарили абонемент. Там печаталась сердцепипательная повесть «Оля», и я с нетерпением ждал продолжения. И вот там появилась довольно трудная задача: вырезывалась какая-то бумажная рамка, и в нее должна была входить другая фигура так, чтобы казалось, что эти две части нельзя было разъединить. Впрочем, я как следует и не помню, и сам не справился бы с этой задачей. За нее взялись папа и Генрих Михайлович и довели дело

до конца. Потом показали мне, как это все соединить. За решение этой задачи назначены были премии. Меня повели в редакцию, где около круглого стола сидели два господина в сюртуках, а на столе лежали все такие же фигуры, какая была у меня в руках. Меня спросили, как я это сделал. Я смутился и не мог ответить толком. Сказали положить на стол. Я положил, и мы пошли домой. Однако, через несколько дней мне все-таки принесли премию: «Басни Крылова». Помню, что принес эту книгу Сережа Шредер, который ходил за ней. Это было осенью 1882 года, книжка и сейчас сохранилась у меня.

В Петербурге произошло большое событие: появилось электрическое освещение на Невском. Правда, это были только «свечи Яблочкова», и фонари стояли далеко друг от друга, но ходячая фраза была: «Светло, как днем». Конечно, надо было меня повести смотреть. И вот однажды вечером я в сопровождении папы и Генриха Михайловича направился к Невскому смотреть первые электрические фонари. В это время электричество так и называли: «Свет Яблочкова». У меня впечатление было среднее... Светло, правда светло, но до того, чтобы было «как днем», еще очень и очень далеко...

Мама водила меня к какому-то часовщику. Он жил в подвале (несколько ступенек вниз), и у него в помещении был такой спертый воздух, что я старался не дышать. Но у него была какая-то умная собака. Тот ей что-то сказал ломаным русским языком — она не слушалась. Он с нею заговорил по-немецки, она сделала все, что он хотел. Это меня поразило, в особенности то, что собака, как оказывается, понимала только по-немецки...

На даче Филиппова в Петергофе мы жили три года подряд: в 1881, 1882 и 1883 г. Много воспоминаний связано с этим периодом времени. Дача эта находилась на Оранжерейной улице, недалеко от входа в Английский парк, туда мы шли через проход между двумя длинными оранжереями, расположенными перпендикулярно к этому проходу: и вот в определенном месте этого прохода можно было вскрикнуть и услышать эхо. Так как гуляли мы в Английском парке довольно часто, то игра в эхо была нашим любимым занятием. Самого же процесса гуляния в парке я не помню.

У нас была старая няня, которую мы страшно любили. В ее комнате был большой сундук, на который мы вместе с Влади-

миром вскарабкивались, болтая ногами и воображая, что едем на поезде: «Чика-чика-тарарака, тарарака чик-чик-чика». На дачу мы приехали по железной дороге, и это путешествие, очевидно, произвело на нас соответствующее впечатление. И мне помнится, что я закрывал глаза и терял сознание действительности, мне представлялись поля, леса — была полная иллюзия путешествия... Какое приятное чувство переживал я! Меня одного, а потом и в сопровождении Володи, посылали в лавочку, находившуюся на той же Оранжевой, за полтора квартала. Однако, проходить приходилось мимо мастерской какого-то портного, которым нас пугали и которого мы боялись, как огня. В самом деле, при малейшей шалости произносились угрозы отдать в учение этому портному: детей, отданных ему, он бьет; когда приходит время принимать пищу, он страшным голосом говорит: «Аз, буки, веде, глагол, добро, ест!» — и бросает кусок прямо в рот... Вероятно, бедный мальчик и не подозревал, что им пугают детей, я, собственно говоря, и не помню, видел ли когда его... Однако, проходя мимо этого помещения, я затаивал дыхание и как-то старался проскользнуть мимо. К чему было такое запугивание, никак не могу понять. Вдобавок, в какой-то книжке с картинками был изображен мальчик, отданный в учение портному и не стригший ногти, и страшный портной отрезал у него ногти вместе с пальцами длинными-предлинными ножницами. Кровь лилась ручьями. Очевидно, ассоциация с этой картинкой еще усугубляла мой ужас. Владимир боялся страшного портного не меньше меня. Звали мы его Потапом Максимовичем, было ли это настоящее его имя или выдуманное, не знаю.

Меня еще возили к каким-то старушкам, жившим в Бабьих Гонах. Цель этой поездки была получение каких-то трафаретов для плетения узоров из бумажных разноцветных полос. Эти старушки имели какое-то отношение к Смольному, и мама относилась к ним с большим уважением. На обратном пути встретили едущую в коляске даму без правой руки. Тут мама мне рассказала целую историю. Оказывается, папа, еще не будучи женатым, когда учился в Академии, вздумал ехать в Павловск, где на вокзале играл симфонический оркестр. Так и говорилось: «ехать в Павловск на музыку». Он чуть не опоздал на поезд и вскочил на ходу в последний вагон, и это его спасло. Перейдя через Обводный канал, поезд сошел с рельсов, и паровоз ударился о будку,

стоявшую углом, свалился, и все вагоны попадали в канал, кроме последнего, сошедшего с рельс, но оставшегося на полотне. Но и этот вагон здорово трянуло, и у дамы, сидевшей случайно рядом с ним, чем-то упавшим сверху раздробило руку, которую пришлось потом отнять. Папа остался цел и невредим. Фамилию этой дамы мне назвала мама, но я ее не запомнил.

Папа не жил с нами на даче, он оставался в городе, где у него всегда была работа, приезжал к нам по субботам и оставался на воскресенье; иногда приезжал и среди недели. Огромным удовольствием для нас было встречать его на пристани. Море в Петергофе очень мелкое, дорога шла сперва по длинному молу, а потом по деревянным широким мосткам. Светило солнце, плескалось море, внизу у скатов мола сидели рыболовы с удочками, купались и ныряли в воду мальчишки. Мы подходили обычно задолго до прибытия парохода и хорошо знали, что сперва покажется дымок, потом трубы, а уже только после некоторого времени увидим кузов парохода. Это было страшно интересно... Пароход приближался, и хотелось скорее увидеть папу. Он стоял обычно на верхней палубе, с которой скатывали сходни прямо на пристань, и по большей части (он) спускался на пристань одним из первых. Пароходов ходило три: «Царевич», «Царевна» и «Санкт-Петербург», и мы заранее старались угадать, на каком из них приедет папа. Если дул свежий ветерок и разводил волны, то пароход подходил к пристани с большой осторожностью. Мне помнится даже такой случай, когда вдруг разыгрался довольно сильный ветер, пароход проскочил мимо пристани и сел на мель. Пассажиров перевозили к пристани на лодках. Пристань сильно скрипела, ее качало, но никакого чувства страха это во мне не возбуждало. Эти встречи были одним из самых очаровательных воспоминаний.

Любимым занятием папы на даче был крокет, в который играли партиями по шесть или восемь человек. Правил придерживались очень строгих. Я не только заинтересовался, но скоро мне дали также молоток, и я сделался заправским игроком. И впоследствии я продолжал играть очень хорошо. Меня, маленького мальчика, принимали в партию взрослые. Первый год играли на дворе, и это представляло много неудобств. Потом папа сумел откупить у хозяев часть их огорода, и на этом месте была устроена образцовая площадка, хорошо выровненная. Был приобретен

новый крокет с огромными шарами из карельской березы и с тяжелыми молоточками. Я хорошо справлялся и в новых условиях и заслуживал всеобщее одобрение. Играла и мама, играли старшие мальчики Демидовы, играли и другие гости, молодые архитекторы, приезжавшие из Петербурга.

Очень торжественно проходил день папиных именин 29 июня (Петра и Павла). Мама, носившая всегда платья темных цветов, в этот день раз в году надевала белое пикейное платье, голубую бирюзовую брошь с бриллиантами и хрустальные часы в виде шара на золотой цепочке. Я любовался ею.

Старая няня, раньше ходившая за мной и Владимиром, теперь всецело посвящала себя Николаю, и мы получили несколько большую свободу. Но вот она стала хиреть, страдать затяжным кашлем, начал покашливать и Николай, которому было в это время год с небольшим. Доктор Крашевский, осмотрев няню, пришел в ужас: «У нее чахотка в скоротечной форме, если ее оставить так, то ей жить не больше шести недель, если ее отправить сейчас же в деревню, то она протянет еще полгода. Во всяком случае, около ребенка держать ее нельзя, еще немного, и он от нее уже заразился бы». Няню отправили в деревню, а к Николаю, по совету доктора, в детскую внесли сосну, смолистым ароматом которой он дышал. Через некоторое время кашель его прекратился. Доктор нашел, что всякая опасность миновала.

За столом у нас стоял серебряный судок, где в граненых флакончиках был всегда уксус и прованское масло, кроме того, была перечница и горчичница. И вот Николай, видя прованское масло, тянулся к нему ручонками, плакал, сердился и не успокаивался до тех пор, пока ему не давали рюмочку, которую он выпивал до дна с наслаждением. Доктор, которому сказали про это, пожал плечами и нашел, что если ребенок требует прованское масло так настойчиво, то это «потребность его организма», и что нет ничего дурного в том, что он будет пить его. Такую любовь к жирным растительным маслам Николай сохранил и впоследствии. Кроме этих воспоминаний, других воспоминаний о Николае за этот период у меня не осталось. Инцидент с няней произошел, очевидно, в 1882 году.

У нас теперь сзади дачи был садик; за садиком находилась крокетная площадка, примыкавшая к забору, выходящему уже на другую улицу. От соседней дачи нас отделял двор, на котором

раньше играли в крокет. С другой стороны сада была глухая деревянная стена, от которой пахло плесенью. Там была какая-то конюшня. А самое интересное, что у подножья этой стены в нашем саду росли шампиньоны. Папа очень их любил и сам лично их выкапывал тотчас же по приезде домой. Никому другому это не позволялось. Потом мама приготавливала из шампиньонов, выросших за несколько дней его отсутствия, вкусный соус. Эти шампиньоны показывали гостям — вот какие у нас в саду растут деликатесы!

В 1882 году мама снова приготавливала приданое для будущего ребеночка. Однако, случился какой-то инцидент, кажется, она споткнулась, и в результате у нее прежде времени родился мертвый ребенок. Было заранее решено, что если будет мальчик, то его назовут Ростислав, если девочка, то непременно Надя. Мама еще оплакивала мою старшую сестру, скончавшуюся через несколько дней после рождения, которую звали Надей. Итак, у меня была уже вторая сестра Надя, погибшая, еще не успев родиться. Мне показали запеленатое сморщенное существо с красным личиком и закрытыми глазами. Принесли крохотный гробик, папа взял его подмышку, меня за руку, и мы вместе с каким-то попом и дьячком побрели на Петергофское кладбище, живописно расположенное над самым морем. Место, очевидно, было уже куплено, и там зарыли мою сестрицу, над могилкой сделали маленький холмик, на который я положил букет полевых цветов. Поп что-то бормотал... собственно, он не смел молиться за девочку, ибо она была некрещеная, но верно ему за это заплатили, ибо он прочел какую-то молитву. Это было близко к краю кладбища, откуда был выход прямо в лес, простирающийся на много верст, и который мне казался непроходимо дремучим, и в котором, говорили, водятся волки. Мы, по-видимому, потом ходили туда несколько раз и с мамой, ибо я всегда бойко умел найти место убогой могилки. Я снова остановился у выхода в лес, и мне живо представлялось, как в нем должно быть страшно одному. Он манил меня своей тайной... Потом мне смутно припоминается, что я ходил вместе с мамой в церковь, куда ей нужно было пойти для «очистительной молитвы». Смысла этого дикого обычая я, конечно, тогда не понимал, иначе обиделся бы за маму. А мама уже тогда начала мечтать, что у нее будет еще дочка — третья Надя. Но эта мечта исполнилась только через два года.



Брат Владимир



Сестра Надежда

У нее было удивительное сочетание глубокой религиозности с большою нелюбовью к попам. Исключение делалось лишь для немногих: к таким избранникам принадлежал Димитрий Павлович Соколов, действительно обликом похожий на святого.

Архитектор Иван Иванович Шапошников был приятелем моего отца. Он считался очень богатым, во-первых, потому что много зарабатывал, а во-вторых, потому что его жена была также богата. Екатерина Васильевна Шапошникова, урожденная Голенищева-Кутузова, была очень красивая дама, с осанкой Екатерины II. Жили они очень шикарно, у них было имение в Бологом, где они проводили все лето. Не знаю, по какому случаю среди лета они нанесли нам визит в Петергоф. Старшая дочка Шапошникова, красивая девочка Ляля (Елена) и маленький мальчик Лоря (Илларион) сопровождали их (*Елена Ивановна Шапошникова, в будущем жена художника Николая Рериха. — З. О.-К.*). Очень скоро после этого Лоря умер от дифтерита, которым он заразился, как говорили, при поездке железной дорогой из Петербурга в Бологое в мягком вагоне. Осталась одна Ляля. Мы бывали у них на ёлке, бывавшей особенно художественной и украшенной дорогими и изящными бонбоньерками и игрушками. Шапошников неизменно встречал нас шуткой: «Ах, здравствуйте, гренадеры-молодцы!». Вообще он детей, кажется, любил...

Мне помнится страшная гроза с ливнем и градом. Днем стало так темно, что зажгли свет. Я грозы не любил не потому, что боялся грома или молнии, но потому, что во время грозы у меня делалась страшная рвота, которая прекращалась, как только проходила гроза. И чем сильнее была гроза, тем сильнее и мучительнее была рвота... Я совершенно не понимаю причину такой странной своей физиологической особенности, с годами эти симптомы у меня совершенно прекратились. Это было тем более странно, что я впоследствии в самые сильные бури на море никогда не страдал морской болезнью! В эту страшную грозу я был самым несчастным существом, ибо страшно страдал, и был счастлив, когда вдруг появился первый луч солнца. И в это время под самыми окнами послышался голос нашего мороженщика, выкрикивавшего по обычаю того времени: «Маро-о-жено хорошее», «Маароже-нно хорошее!». Потом он ловко останавливался, снимал кадку с мороженым с головы, раскланивался и успокоительным голосом говорил: «Превосходное есть!!». Внезапное появление мороженщика развеселило всех; я моментально выздоровел и принялся есть вкусное малиновое мороженое, которое он доставал особой большой ложкой, дававшей прямо шарик на блюдечко. Все продавцы яблок, зелени, булочки и т. п. имели тогда обычай выкрикивать, что они продают, и для каждого вида товара существовал определенный и всегда тот же самый традиционный напев, по которому издали можно было узнать, кто приближается, и принять меры, чтобы поймать соответствующего продавца. Это было, в общем, довольно удобно. Таких продавцов с лотков и из кадушек было очень много. Конечно, в каждой семье были свои любимые поставщики...

По воскресным и праздничным дням в нижнем парке пускались все фонтаны, и мы часто ходили смотреть их. Сперва проходили мимо дворца Марли, с прудом перед ним в виде правильного прямоугольника. В нем было множество золотых рыбок. На берегу против дворца был серебряный колокольчик, очень звонкий, и при звуке его мириады рыбок подплывали к берегу, разевая роты. Им бросали крошки белого хлеба, которые они жадно ловили. Затем выходили на широкую аллею, где с одного конца был фонтан Адам, с противоположного конца Ева, а посередине фонтан Греческий храм. Неподалеку была Золотая гора, где вода лилась каскадами с ажурных мраморных ступеней, к ко-

торым были прикреплены медные полосы, ярко блестящие на солнце. Центральная часть парка представляла собой Морской канал, по бокам которого били высокие фонтаны. Он шел как раз от середины Большого дворца, находящегося на высоте, с позолоченной крышей. Перед дворцом бил огромным фонтан Самсон, раздирающий (пасть) льва — вода взлетала на высоту выше крыши дворца, а потом стекала вниз с Шахматной горы в Морской канал. Шахматная гора — покатая плоскость, состоящая из квадратиков черного и белого мрамора. Было на что смотреть! В солнечный день брызги воды играли всеми цветами радуги. На главной аллее была беседка, где играл придворный оркестр: музыканты были в красных кафтанах. Все это казалось сказочно красивым. От самого дворца шли мраморные ступени к огромной террасе, окаймленной мраморной балюстрадой — это был Монплеизир. Когда пароход, идущий из Петербурга, поворачивал к Петергофу, первое, что бросалось в глаза, была белая яркая полоса среди темной зелени — это и была решетка Монплезира. Во время больших Петергофских празднеств на этой террасе располагалась царская семья со свитой. *(Здесь мой отец описал фонтаны Петергофа очень красочно, но не совсем верно (их расположение).* — З. О.-К.).

В 1883 году праздновалось «совершеннолетие» наследника престола, впоследствии Николая II. Мы подошли окольными путями к какому-то забору. Где-то играл оркестр, ехала в блестящих нарядах кавалерия. Музыка играла, это мне хорошо запомнилось, потом я узнал этот мотив — дуэт Вани и Сусанина из 3-го действия «Жизни за Царя»: «На Руси ты меня возвеличил». Где-то кричали «Ура»...

Огромным событием было посещение Большого театра (*Большой театр размещался на Театральной площади. В 1885 г. его сломали, а в 1890-х годах на его месте построили Консерваторию.* — З. О.-К.), в котором я был только один раз в жизни. У нас была ложа вместе со Шюсслер. Это было на масленице, дневной спектакль. Шел балет «Дон-Кихот», где роль Дон-Кихота исполнял знаменитый Стуколкин. Очень хорошо помню, как меня поразила передняя-раздевальная, как с меня и с Владимира снимали теплые шерстяные штанишки, какая при этом была сцена и крики. Потом помню театральный зал, много позолоты, свечей, красного бархата... Затем открылся занавес, и рыцарь в доспе-

хах, погруженный в чтение какой-то огромной книги... И вдруг во всех углах начинают шевелиться видения, разные фигуры все ближе и ближе подступают к рыцарю... Из-под пола высовывается огромная страшная голова, которая раскрывает рот и шевелит губами... Эта голова потом мне не раз снилась. Помню, как герой сражался с ветряными мельницами и, наконец, повис на одной из них. Толстый Санчо-Панчо был предметом потехи какой-то челяди, и его высоко подбрасывали не то на скатерти, не то на простыне. Потом изображалось празднество у какого-то герцога, разыгравшего для своего увеселения с Дон-Кихотом комедию, которую он принимал за чистую монету. Здесь детали совершенно ускользают из памяти... Последняя картина — умирающий Дон-Кихот. И снова его обступают видения, и та же страшная голова вылезает из-под пола. Вот и все, что осталось в памяти от этого спектакля.

В те времена на масленицу все извозчики оттеснялись на второй план, а их заменяли так называемые «чухонцы», или «вейки». Сани у них были необыкновенные, лошади с бубенчиками, и кататься было очень интересно. За любой конец чухонец просил «ридцать копеек». Насколько мне помнится, в театр мы приехали на одном из таких «чухонцев». Не все они были финнами, были также просто крестьяне окрестных деревень, желавшие заработать на масленичном катании по городу и за город. Поперек Невы, по направлению к Васильевскому острову, была дорога, и по ней также в особых санках катались на настоящих северных оленях. Я помню одно такое катание. Люди, катавшие (нас), были в костюмах с вывороченными наружу мехами. Откуда они являлись в Петербург, и кто они были такие на самом деле — я не знаю. Катание это было в моде не только среди детей, но и среди взрослых.

И вот заключительный эпизод этого периода моего детства. Осень. Кончилось пребывание на даче. Мама осталась в Петергофе готовить вещи к отъезду. Папа со своим помощником Генрихом Михайловичем Солтыкевичем забрал меня в Петербург. Было решено устроить мне сюрприз — свести на вечернее представление в Зоологический сад, где давалась феерия «Унди-на». Я совсем не помню, как меня привезли домой, чем меня кормили, очень смутно помню обозрение зверей, которых я потом видел множество раз. Во время представления феерии мы сиде-

ли в ложе. В соседней ложе сидела такая хорошенькая девочка, что я все время оглядывался на нее, и она мне улыбалась... Потом мне эта девочка часто снилась, но я никогда никому не говорил об этом... Это была моя тайна... Содержания пьесы также не помню. Действие происходило в рыцарском замке, и владельцу его донесли, что его жена — русалка. И действительно, рыцаря ведут к какому-то ручью или пруду, и, подкрадываясь к нему, рыцарь убеждается, что среди русалок — его жена. Что из этого вышло — не помню, так же как чем все кончилось... В феерии были балетные номера. Появилась на пуантах прима-балерина, вся в белом, в газовых юбочках. Я так был ошеломлен, что громко вскрикнул: «Какая же она хорошенькая!». Говорили мне потом, что это произвело сенсацию — на меня смотрели, но сам я и не подозревал, какой я произвел эффект... В конце пьесы была какая-то сказочная иллюминация каких-то роскошных зданий, бенгальские огни... Меня завернули в плед, понесли в карету, приехали домой, угостили малиновым чаем; вероятно, облепили горчичниками, по тогдашнему обычаю, чтоб не простудился, уложили спать, составив два мягких кресла... Я заснул. Проснулся на рассвете. Папа сильно храпел, но мне казалось, что храпит не он, а лепная фигура... У нас на каждом окне, сверху, как архитектурное украшение, выглядывала физиономия в форме полумесяца, видная изнутри комнаты... и мне казалось, что храпит именно эта фигура. И долго после этого, слыша храп, я оглядывался на окно. Я снова заснул и спал очень долго; стояла мертвая тишина, меня не будили. Когда приехала мама, когда пришли возы с мебелью, я не помню.

Феерии, которые тогда ставились в Зоологическом саду, привлекали массу публики, «роскошная постановка» их пестрела всевозможными эффектами. Шли они на открытой сцене. Сперва были передние места, потом ложи, сзади них кресла, потом стулья, а затем за заборчиком и сбоку за загородкой стояли безбилетные зрители. Это было в 1883 году. Мы жили тогда еще на квартире у Вознесенского моста в доме № 83 на Екатерининском канале, квартира № 13, близ Фонарного переуллка, а весной 1884 года уже переехали на другую квартиру, и на дачу в Петергоф больше не ездили.

Начало 1940-х годов



Воспоминания детства. Мои родители

Часть II

Что я знаю о семье своей матери? Старинный дворянский, более чем 400-летний род, ведущий происхождение от суперинтендента (лютеранского епископа), родившегося в 15 веке, «большого ученого». Девизы: «Esse non videri», «Sicut rosa inter spinas». Одним из его прямых потомков был Lenz — Ленц, друг Гёте, писатель и поэт, написавший поэму на сюжет легенды о «Фаусте» раньше Гёте и, возможно, побудивший последнего также заняться этой легендой. На гербе Ленц красуется соловей на ветке и три луны (Ленц — значит Весна). Когда они переселились в Лифляндию и когда получили имение Рингмундсгоф (Ливонская Швейцария) — одно из красивейших мест в окрестностях Риги, неизвестно. От деда моей матери, Василия (Вильгельма) Ленца, сохранялось у меня до самого 1941 года 2 альбома (один с силуэтами, другой семейный) конца 18 века. Родословная Василия Ленца шла по прямой линии от основателя рода. Потомком основателей того же рода по косвенной линии был известный русский физик Ленц. Дагерротипный портрет Вильгельма Ленца, очень хорошо сохранившийся, был у меня до 1941 года. Между прочим, при эвакуации у меня пропала ценнейшая коллекция дагерротипов, обернутых в плотную бумагу и совершенно не выцветших. Вся она пропала. Мне всегда казалось, что ни у кого в мире не могла сохраниться такая коллекция свежих дагерротипов (около 30 штук)...

У Василия Ленца (он присоединял к своей фамилии приставку фон) было два сына, Густав Васильевич (отец моей матери) и Василий Васильевич, в свое время известный музыкальный критик, говоривший на 11 языках и считавшийся в свое время знатоком Бетховена — он написал книгу «Beethoven et ses trois styles». Кроме двух сыновей, Василий Ленц, женатый на дворян-

ке фон Бреккер, имел еще двух дочерей, оставшихся старыми девами, и еще одну дочь, вышедшую замуж за Эккардта. Портреты Елизаветы фон Бреккер и отдельно каждой из ее двух дочерей сохранялись у меня также до 1941 года. Они рисованы были тонко очиненным твердым карандашом, и с первого взгляда могли сойти за гравюры, такой тонкий был рисунок кружев, жемчуга, бархата и т. п. Это был шедевр какого-то известного французского художника.

Моя мать, Елизавета Густавовна, старшая в семье, получила имя в честь своей бабушки. Густав Васильевич фон Ленц при Николае I занимал видное место — помощник Почт-Директора, он был полковником Лейб-Гвардии Конногвардейского полка, потом вышел в отставку в чине генерал-майора. Женат он был на Анне Федоровне Гавриловой, дочери Пензенского Губернатора. Мои дедушка и бабушка имели огромное состояние, оценивавшееся в 300–400 тысяч рублей, занимали большую квартиру с роскошной обстановкой, держали своих лошадей. У них было два сына и две дочери. Екатерина Густавовна была младше моей матери на один год. Они обе воспитывались в Смольном (на Александровской половине). Первого брата моей матери звали Александром, второго Василием. Густав Васильевич обожал свою жену и слушался ее во всем. Она вела светскую жизнь, и дети ее стеснялись. Утром детей подводили к ручке, а затем оставляли на попечение нянюшек и мамушек. Ближе, чем мать, была к детям Елена Федоровна Гаврилова, человек необычайной душевной чистоты, так и оставшаяся старой девой. Моя мама очень любила ее, она скрасила ее неприглядное детство. Летом родители ее уезжали за границу — в Висбаден, играть в рулетку. Затем девочек отдали в пансионат в Смольный, а мальчиков — в лицей. Мальчики, с детства оторванные от родителей и не знавшие семьи, рано стали жить самостоятельной жизнью...

Бабушка моей матери, Екатерина Степановна, была урожденная Попова, как я уже сообщал, она была жена Пензенского Губернатора...

Я еще не говорил ничего о старшей сестре моей матери, Екатерине Густавовне. Она и в детстве была какой-то психопаткой — сестры не были близки между собой. По окончании (Смольного) Института она вышла замуж за чиновника Пороменского и уехала с мужем в Ригу, где овдовела. «Тетя Катя из Риги» иногда

приезжала в Петербург, но потом в письмах ее стали сказываться признаки сумасшествия. После приезда ее пришлось посадить в сумасшедший дом (11 верста на Петербургском шоссе). Там уже сидела 40 лет Розалия Николаевна, жена Василия Васильевича Ленца. У нее было тихое помешательство. Старушка остановилась на том возрасте, когда моя мать была еще ребенком. Когда ей давали конфеты, она отвечала: «Отнесите их Катеньке и Лизаньке». А мать моя родилась в 1848 году. Показывала на свои сапоги и уверяла, что они износились в Венгерском походе... Екатерина Густавовна, попавшая в это же учреждение, страдала временами буйными припадками. Вообще же у нее помешательство было эротического характера: она, когда на нее находило, начинала болтать самые неприличные вещи.

Я еще ничего не сказал о родственниках моего дедушки со стороны матери. У Густава Васильевича были двоюродные братья фон Нумерсы (это был также старинный, 400-летний род). В Нарве, в лютеранском соборе был похоронен Ritter von Numers. Вероятно, он был потомком «псов-рыцарей». Алексей Федорович Нумерс занимал какую-то высокую придворную должность при Великой княгине Екатерине Михайловне (дочери Михаила Павловича), которая вместе с Еленой Павловной считалась во время Александра II оплотом либерализма. Это она советовала ему дать конституцию, и это к ней ехал Александр II сообщить, что он, наконец, решил на это (то, что он задумал, была лишь пародия на конституции, но все-таки это был созыв каких-то представителей с совещательным голосом). По дороге в Михайловский дворец (где ныне музей) Александр II был убит народолюбцами...

Другой брат, Виктор Федорович, был женат на своей двоюродной сестре, урожденной Граве, Софье Карловне. Он рано умер от холеры, не эпидемической, и только через 30 лет скончалась его жена. У них была единственная дочь, Софья Викторовна, большая умница, нигилистка в молодости, потом связанная с народными социалистами «Русского Богатства», для которых она переводила иностранные романы и статьи. Она говорила на многих языках и была очень образованным человеком. К концу жизни была ярой кадеткой. Умерла она в 1907 году. Она всю жизнь оставалась старой девой и до старости лет (она умерла 60 лет от роду) сохранила живость ума, интерес к жизни. У нее

я брал уроки немецкого языка. Однажды я спросил ее, на каком языке она думает, так как она свободно говорила и по-русски, и по-французски, и по-немецки, и по-английски. Она ответила, что думает на разных языках. Жила она всегда одиноко. Комната ее была полна книг. Под стеклянным колпаком неизменно стояла хорошо выполненная фигура Гёте, которому она поклонялась...

Сестра дедушки Густава Васильевича была замужем за Эккардтом. У него было две дочери и сын, Юлиус Эккардт. Эккардт был балтийским писателем, резко относившимся к самодержавному правительству. Он был сторонником автономии Прибалтики и был принужден эмигрировать в Германию, где натурализовался немецким подданным. Он был консулом в Швеции, где был очень дружен с известным астрономом Гюльденом, а затем Генеральным консулом в Цюрихе. У него было много детей, разбросанных по всему свету.

Когда я в 1904 году собирался в командировку за границу, тетя Соня мне внушила, что я должен обязательно познакомиться с Юлиусом Эккардтом, моим двоюродным дядей, и написала ему. В ответ я получил личное приглашение от Ю. Эккардта посетить его в Цюрихе, а также предложение навестить его сына, Феликса фон Эккардта в Берлине. Он извещал меня, что предупредил уже его о предстоящем моем приезде. Феликс встретил меня в редакции «*Berliner Neunsche Nachrichten*» очень любезно и пригласил меня отужинать с ним и со старшим его братом, полковником немецкой службы, в ресторане какого-то железнодорожного вокзала в Берлине. Так я встретился с двумя своими троюродными братьями. Полковник был уже седовласый, очень важный, что не мешало ему разговаривать по-родственному. Говорили мы по-немецки. С самим Юлиусом Эккардтом мы объяснялись неизменно на французском языке, на котором он говорил превосходно. Он прекрасно знал Швейцарию и дал мне ряд полезных советов относительно мест, которые стоило посетить. Благодаря ему я попал на воскресный пароход, идущий на самый юг Цюрихзее* в Рапперсвилль, где на свободной Швейцарской земле был национальный Польский музей.

В 1907 году я приехал за границу морем и через Любек и Киль приехал прямо в Гамбург. Феликс Эккардт жил тогда в Гамбурге,

* Zürichsee — Цюрихское озеро.

где был уже вторым редактором «Hamburgen Neunche Nachrichten». Я, конечно, зашел к нему. Но он в это время с женой отправлялся куда-то на вечер. На следующий день он заехал ко мне в гостиницу, не застал меня и оставил приглашение на завтрак в каком-то шикарном ресторане. В Гамбурге я был несколько дней «нарасхват», и мы согласились с ним встретиться еще раз в другом ресторане, после того, как профессор Шор чествовал меня обедом, на который он пригласил нескольких гамбургских астрономов. Феликс Экардт пришел вместе с женой, и мы, встретившись, провели вечер за пивом. Узнав, что я хочу заехать в Цюрих, он сообщил, что отец его болен, никого не принимает, и, если я хочу его видеть, то лучше всего, если я напишу ему заранее. В Люцерне я получил от Ю. Экардта открытку, в которой (он) приглашал меня непременно заехать. Я навестил больного старика, страдавшего астмой, и провел у него несколько часов. К нему как раз заезжал сын, теперь генерал, но в Швейцарии он был в штатском. Он ясно сознавал, что видит отца в последний раз. Юлиус Экардт сам пожелал видеть меня — хорошее расположение ко мне я чувствовал. Зимой он скончался, и я получил карточку с извещением об его смерти от всех его многочисленных сыновей и дочерей...

Родная сестра Юлиуса Экардта — ее звали тетей Нонни, жила в Юрьеве (*бывш. Дерпт, сейчас Тарту. — З. О.-К.*), где была замужем за ректором Дерптского университета, профессором Освальдом Шмидтом, потом овдовела. Там же жила его другая сестра Эмилия, в замужестве Эрдман... Мне пришлось поехать в Юрьев для свидания с тамошними астрономами и по делам моего младшего брата, учившегося тогда в Юрьевском ветеринарном институте. Тетя Нонни жила тогда со своей старшей дочерью. Сын ее был городским секретарем города Юрьева. Двоюродный брат покойного (профессора) Освальда Шмидта был академик, геолог, Юлиус Шмидт, сын которого Отто Юльевич, известный челюскинец, ныне здравствующий академик, математик и астроном (автор последней космогонической гипотезы)...

Жена Юлиуса Экардта, как я знал, была урожденная Давид. Пулковский известный астроном Нюрен, проработавший там 45 лет и уехавший после того на родину, в Швецию, был женат на Эмилии Густавовне, приходящейся племянницей Струве (ее девичья фамилия была фон Вальль)... И она сообщила моей мате-

ри, что жена профессора Людвиг Струве также была в родстве с этой фамилией. Таким образом выходило, что род Эккардтов как-то переплетается с фамилией Струве...

Мое повествование очень схематично, ибо я больше говорю здесь о родственных отношениях, чем о встречах. В детстве меня нередко возили в Михайловский дворец, где Нумерс и его жена, Любовь Васильевна, занимали квартиру. Меня поражала в ней форма окон — в виде полуокружностей. Там часто бывала Серебрякова, фрейлина Великой княгини Екатерины Михайловны, с экстазом повествовавшая мне о разных деталях православного богослужения. На похоронах Александры Федоровны присутствовала сама Екатерина Михайловна вместе с двумя дочерьми, из которых одна, принцесса Ольденбургская, была впоследствии много лет Председательницей Русского музыкального общества...

Теперь надо сказать несколько слов о воспитании моей матери. Анна Федоровна держала своих детей где-то на задворках и совершенно не интересовалась ими. Отдав детей в Институт, родители оставляли их там на все лето, а сами уезжали за границу. После окончания Института их начали «вывозить». Весьма «аристократичным» считалось тогда, да и много после, приезжать в театр ко второму действию (первое проходило при непрерывном хлопанье дверей в ложах бельэтажа и бенуара), а затем в середине, или даже в начале последнего действия, начинался разъезд. Таким образом, моя мама, часто посещая и русскую, и итальянскую оперу, не видела ни первых, ни последних действий.

Под влиянием Василия Васильевича моей матери давали солидное музыкальное образование. Теорией музыки она занималась под руководством известного композитора Серова, затем с ней занимался Нелисов, любимый ученик Шопена; для бравурной музыки к ней был приставлен Гензельт, сам безумно влюбленный в бабушку, Анну Федоровну. Василий Васильевич приводил в салон своего брата известных певцов и музыкантов, и там устраивались импровизированные концерты, после которых были обильные ужины. Однако, девицам говорили, что им вредно есть на ночь, и отправляли впроголодь спать.

Играя в рулетку и пуская пыль в глаза и в Петербурге, и за границей, мои дедушка и бабушка спустили все свое состояние. Однако, еще задолго до этого им уже надоело вывозить своих дочерей, и они решили уехать за границу на более долгое время.

Откуда у них было большое состояние? Тетя Соня говорила мне, что оно умножилось тем, что все места в Главном почтамте были на откуп, включая места почтальонов. Это было характерно для режима Николая I, которого мой дедушка боготворил... Как-никак, Ленцы объявили дочерям, что они кончили Институт и могут себе зарабатывать деньги самостоятельно, а сами уехали за границу.

Екатерина Густавовна вышла замуж, мама осталась одна. Ее очень согревала любовь и ласка тетушки Елены Федоровны, к тому времени поступившей в классные дамы в Смольный институт. Она сблизилась также с Поповыми. Она поступила в гувернантки. Летом она со своими хозяевами поехала за границу. В Висбадене ее тепло приняла Вера Прокофьевна, а родная мать отказалась ее видеть — ей было «тяжело» встретиться с дочерью, работающей по найму в чужом семействе! Но здесь, конечно, было другое... а именно, в том кругу, в котором вращались Ленцы и который группировался около таких лиц, как принц Ольденбургский, разные графы и князья, стыдно было признаться в «унизительном положении» своей дочери, честно зарабатывающей трудом свой хлеб...

Я не знаю, где и как она встретилась и подружилась с Еленой Августиновной Мадерни, дочерью скульптора Трискорни и внучкой Адамими, построившего Александровскую колонну. Сестра ее, Анжелика Августиновна, была замужем за архитектором Гуном, учеником Монигетти; приятелем его был молодой архитектор Остащенко-Кудрявцев, также бывший ученик Монигетти. Эта компания нанимала ездовых лошадей, и все небольшой кавалькадой ездили за город. Впрочем, я забежал вперед: Анжелика Августиновна еще не была замужем за Гуном, а ее сестра еще не была замужем за Мадерни. Мадерни был также скульптором. Во время одной из поездок ветка сильно хлестнула мою мать по глазу, и ей пришлось три недели лежать в глазной лечебнице в полной темноте. Отец мой принял живое участие, и это кончилось тем, что они сделались женихом и невестой...

Родители моей матери жили за границей. Надо было заглазно сделать официальное предложение, его сделал письменно жених, а невеста написала решительное письмо, где испрашивалось благословение родителей с намеком, что, если благословение не будет дано, то все-таки она свое решение выйти замуж за Кудрявцева выполнит.

14-го января 1874 года старого стиля они поженились (не захотели венчаться 13 числа!). Но накануне состоялось бракосочетание в царской семье, и все девицы-дворянки, вышедшие в тот день замуж, получили хорошее приданое от Александра II. У них родилась девочка, которую хотели назвать Надеждой, но она через несколько дней умерла — говорят, «родимчик»... Причиной неудачных родов, как говорили, было появление брата моей матери, Александра, после смерти своей первой жены пившего запоем. У него произошла сцена с моим отцом, который его выпроводил. Потом, через много лет, перед самой его смертью, произошло примирение между братом и сестрой. Затем 28-го декабря ст. стиля 1876 года родился и я. 20-го октября 1878 года родился мой брат Владимир.

Дедушка и бабушка возвратились из-за границы, порастраваивши все свои деньги. Вся шикарная обстановка была продана, родовое имение Ленцов также. Пришлось жить не так широко, но гонор остался, иногда нас, детей, водили туда обедать. За обедом — полное молчание. Мама сидела запуганная. Предупреждалось, что дедушка не любит, когда шалят, и вообще он не любит, когда за столом дети двигаются или что-либо говорят. И мы сидели, как на иголках. Если кто только шевельнется, дедушка начинает сердито вращать глазами. После обеда маму засаживали играть. Дедушка становился рядом и нервно дирижировал руками. Если ему что-нибудь не совсем нравилось, он делал страдальческое лицо и притапывал ногой. Он умер еще тогда, когда я не вышел из детского возраста. Мама все-таки любила его — он умел быть иногда нежным с дочерью и называл ее «моя бравая Лизанька». Да, именно бравая, потому что сумела выйти в люди, и сама (сумела) найти себе семейное счастье.

Мои родители жили душа в душу. Никогда я не видел, чтобы какая-либо ссора омрачала их жизнь, несмотря на большую трудность их существования. С бабушкой у моей матери были очень сухие отношения, при всех внешних признаках почтительности. Бабушка умерла в 1903 году. К ее характеристике можно добавить следующее. Уже чувствуя приближение смерти, она вызвала гробовщика и дала ему полный заказ на то, какой парчой должен был быть обит ее гроб и т. д. Заказала весь ритуал своих похорон в Новодевичьем монастыре, вплоть до встречи гроба ее хором монахинь у самой могилы и других мелочей,

предусмотренных ею во всех деталях. Она пуще всего боялась, что похоронят ее не «по-генеральски», причем в завещании оговаривалось, что воля ее относительно похорон должна быть выполнена точно, даже если для этого потребовалась (бы) продажа всего ее имущества. Умирала она нехорошо. Ей чудились всякие ужасы, она отгоняла от себя какие-то «видения». Последние ее слова были с расширенными от ужаса глазами, она воскликнула: «Вот она какая!» и замолкла навсегда. Это рассказывала мне моя мать, присутствовавшая при ее кончине. Видно, совесть ее мучила в чем-то, это осталось ее тайной.

Когда она приходила к нам, то непременно приносила детям какие-то черствые пряники и старые леденцы. Откуда она их выкапывала, эти «бабушкины гостинцы»? Между тем, генеральша фон Ленц получала очень хорошую пенсию, ела самые отборные кушанья, занимала очень хорошую квартиру в доме Кольмана по Ямской улице. Адрес ее, угол Кузнечного и Ямской, был для меня непонятен, когда я был ребенком. Я сам считал — шестой дом от угла... Но потом я понял, что Ямская улица была не «аристократичной». Недалеко от дома Кольмана стоял деревянный домик: «полицейская будка». Такие домики для жилья городских в те времена стояли посреди многих улиц, более или менее тихих, и их объезжали извозчики. Когда они исчезли, не могу припомнить. Да, много было вещей, над которыми приходилось задумываться еще в детстве.

Противоположностью бабушке была ее родная сестра, Елена Федоровна, «тетя Леля», как мы ее называли. Она долго была классной дамой в Смольном, а потом получила комнатку во «вдовьем доме» в том же Смольном. У нее к старости отнялись ноги, и она сидела на диване, перед овальным столиком, а ночью лежала на нем. Я был ее крестником. Это была такая любящая, чистая душа, что мы все ее очень любили. Мой отец также очень любил и уважал «тетушку», и единственный раз в жизни, когда я видел, что он плакал — это было на ее похоронах. Сам он скончался несколько лет спустя, 23-го ноября 1891 года.

Другой человек, горячо любивший мою мать — это была ее воспитательница и классная дама Евдокия* Федоровна Григо-

* В I части «Воспоминаний детства» она же упоминается под именем Евгения.

рьева. Все бывшие воспитанницы Смольного, которых я только встречал и в детстве, и после, отзывались о ней, как о страшном звере, бездушной педантке, человеке бессердечном и злом. Но, очевидно, это была педагогическая маска, ибо у нас «тетя Душа» бывала часто, и мы, дети, льнули к ней, как к самому доброму и задушевному человеку. Я думаю, что она привязалась к моей маме, зная, что она является сиротой в родной семье. С другой стороны, у моей мамы были замечательные педагогические способности. Она была ученицей Ушинского и с детства восприняла его идеи, и ее занятия со мной были всегда очень интересны. На педагогической почве у них были разговоры, также и на религиозной — обе были глубоко верующие.

Между тем, мама моя при всей своей религиозности совершенно не признавала постов, страшно не любила священства и не любила ханжества. Два исключения у нее было в жизни. Священник Соколов, Димитрий Павлович, живший в Мариинском дворце, а летом — на даче, находящейся в нескольких шагах от той, где мы обычно жили летом, в Петергофе, на Оранжевой улице. Жена его, Мария Ильинична, и старшая замужняя дочь были сущими ведьмами. Затем следовало бесчисленное множество сыновей, а затем две дочки, Лиза и Женя, бывшие моими подругами детства. Сестра Марии Ильиничны, Ираида Ильинична, была подругой моей матери по Смольному. Димитрий Павлович Соколов был несколько суровый человек, но глубоко верующий и достойный служитель церкви, и моя мама действительно уважала его.

Другой священник, которого мама уважала, был Ласкеев. С ним она познакомилась уже в немолодые годы, когда одна приятельница ее, учительница Терebeneва, тоже уже немолодая, вышла замуж за Ласкеева. Надо сказать, что Ласкеев полюбил свою жену в молодости и, закончив Духовную Академию, не принял священства, ибо Терebeneва не захотела выйти за него замуж. Он сделался учителем древних языков. Он много лет оставался девственником, пока не дождался согласия Терebeneвой выйти за него замуж. Тогда только он принял священство. Брак их был очень счастливый. Мою мать поразила стойкость этого человека, не женившегося на первой попавшейся, как это бывает у духовных, лишь бы жениться. Не знаю, что мама напевала этому священнику обо мне, уже не признававшем Бога, — меня он видел

только мельком — но факт, что он назвал сына Борисом, «чтобы он был таким же хорошим, как я!». Бориса этого я никогда не видел, ни маленьким, ни большим. А вообще мама моя всегда чуждалась духовенства.

И в Пулкове были приняты в русских семьях посещения сельским духовенством (два священника и диакон) семей русских астрономов. Моя мама отказывалась упорно от таких приемов, за исключением только молебна посвящения новой квартиры вскоре после переезда моей семьи в Пулково в 1902 г. после моего возвращения из Одессы... Она всю жизнь была учительницей, давая частные уроки музыки с более взрослыми, а больше любила она самое начальное обучение, причем почти всегда у нее были еще бесплатные ученики из простых, которых она учила грамоте. И в Пулкове, и в Николаеве, куда мы после переехали, она продолжала эту свою деятельность.

Возвращаясь к бабушке, укажу на еще одну ее черту. Она всю жизнь лечилась от несуществующих болезней, в то время как доктора хорошо знали, что более здоровую и крепкую натуру трудно сыскать. Приглашался доктор — генеральше совсем плохо. — «Что с Вами?» — «Ах, доктор, не могу найти себе места: колет, щекочет, стреляет, сжимает, стягивает, душит!». И всю жизнь так было, до самой глубокой старости. Около нее всегда были какие-то особы типа приживалок, елеинным голосом поддакивающие ей и восхищавшиеся каждым ее словом, что очень нравилось ей. Мать моя относилась к ней всегда подчеркнуто почтительно, но, очевидно, никаких теплых чувств к ней не питала, да и, по правде (сказать), что хорошего она когда-нибудь видела от нее?

Мать моя всю жизнь провела в труде. Те родные и знакомые, которые бывали у нас, были по большей части симпатичные люди. Большой приятельницей моей матери была итальянка Мадерни, Елена Августиновна, о которой я уже упоминал. Дочь ее, Анжелика, была на месяц старше меня, и грудью кормили они одновременно, и часто менялись младенцами, так что я сосал молоко двух матерей. Муж Елены Августиновны был сказочно богат, но вдруг дела его пошатнулись, все его состояние пошло за долги, и Елена Августиновна (овдовев) принуждена была зарабатывать деньги, живя на жалкое жалованье кассирши в аптеке. У нее было два старших сына, где-то служащих, и дочь Анжели-

ка, (они жили) еле выбиваясь из нищеты. Анжелика (Желя, или Нетти) потом вышла замуж за английского Вице-консула Мекки и была очень счастлива в браке. Она взяла мать к себе. Отношение ее к зятю было, как у родной матери к сыну.

У моих родителей завязалось дачное знакомство с семьей Шюслер. Екатерина Яковлевна, урожденная Пахомова, вышла замуж за немца, Филиппа Юльевича, мелкого служащего, кажется, бухгалтера в какой-то конторе. Имели они дочь Зою — старше меня — и Толю, как раз посредине между мною и Владимиром. Это были также мои друзья детства. Мама моя настолько любила Екатерину Яковлевну, что приглашала ее крестить двух младших детей. Она крестила и Николая, родившегося в 1881 году, и Надежду, родившуюся в 1885 г.

Крестным отцом моего брата Николая был А.Л. Гун, или А. Лгун, товарищ моего отца по ученичеству у Монигетти, оказавшийся очень черствым и даже нечестным человеком, старавшимся эксплуатировать моего отца, в конце концов отвернувшегося от него.

Крестным отцом Надежды был доктор Крашевский, Игнатий Антонович. Знакомство с ним состоялось очень оригинально. Мои родители, поженившись, поселились в доме в Новом переулке, выходящем на Казанскую. Этот дом может быть тот, который послужил поводом к замечанию Гоголя, что он «вмещал в себе население целого города», принадлежал купцам ..., а затем по наследству Жербиным, получившим за какие-то колоссальные пожертвования дворянство, и после этого вообразившими себя аристократами. Однако в то время они были еще просто купцами. Случилось несчастье: какой-то мальчик упал с третьего этажа в пролет лестницы и сильно расшибся. Позвали экстренно доктора Крашевского, жившего в том же доме. Все жильцы, жившие на одной лестнице, всполошились и выскочили из своих квартир...

Из учеников отца я в первую очередь назову Солтыкевича, Генриха Михайловича, получившего потом должность архитектора в Керчи, и также бывшего близким человеком в нашей семье. Он привел в наш дом друзей поляков, которые потом не переводились у нас. И доктор Крашевский также был поляк, о чем я узнал лишь впоследствии. Он сделался большим другом моего отца и часто бывал у нас запросто.

23-го ноября ст. стилия 1891 года мой отец подошел после обеда к матери, вдруг пошатнулся. Она подхватила его на руки, он потерял сознание. Я сорвался с места и перебежал площадку лестницы, где жил доктор Цейпель. Тот моментально пришел и склонился над моим отцом. Мама иступленно кричала: «Крашевского, пошлите за Крашевским!». В это время в столовую входил Крашевский. Это показалось почти чудом. Но оба доктора уже не могли ничего сделать, как только констатировать смерть. Это было потрясающе... У моей мамы была отнята всякая возможность говорить: «вот если бы был Крашевский, то Павла Ивановича можно было бы спасти».

Конец 1940-х годов

Поездка в Курскую губернию для исследования магнитной аномалии

Воспоминания о П. К. Козлове

Май 1896 года. Я, студент, только что закончивший 2-й курс, по рекомендации профессора А.М. Жданова принимаю участие в исследовании Курской магнитной аномалии под руководством вызванного из Парижа известного магнитолога профессора Мура. Председатель отделения математической географии ИРГО* генерал Алексей Андреевич Тилло устроил нас в свитском поезде, идущем вслед за императорским. Через несколько дней ожидалась коронация Николая II. Тилло, видный ученый, был командиром гвардейской дивизии и генерал-адъютантом. Наш вагон, классный вагон II класса, был в самом хвосте свитского поезда. Поезд выходил в 12 часов с минутами и должен был отойти тотчас после получения телеграммы о том, что поезд царя, пройдя соединительную ветку, уже вышел на магистраль. Поэтому вышли с небольшим опозданием. Мы залегли спать — нам было представлено двоим четырёхместное отдельное купе.

Проснувшись, первое, что я увидел в окно, это стоящих вдоль полотна солдат на близком расстоянии друг от друга. Царский поезд уже прошёл, и они стояли «вольно», но еще не были сняты с места. Оказалось, то же и по другую сторону полотна — от Петербурга до самой Москвы! На больших станциях — длительные остановки царского поезда, наш поезд стоял в это время на каком-нибудь полустанке или разъезде.

Ни есть, ни пить нам не полагалось. Не доезжая Твери, стояли полтора часа. В это время Николай II принимал депутацию тверской земской и городской управ и сказал знаменитую

* Императорское Русское географическое общество.

речь о «бесмысленных мечтаниях». Он читал её по шпаргалке Победоносцева, и, говорят, там было написано «бесплодных». То, что он прочел, оказалось еще хуже, но сказанного изменить было нельзя, и это так и отошло в историю...

В Москву прибыли к вечеру, и профессор Лейст, директор метеорологической и магнитной обсерватории, встретил нас на вокзале. Лейст плохо говорил по-русски, по-французски ещё хуже. Он повёз нас, проголодавшихся, в ресторан, где прислуживали люди, одетые во всё белое по тогдашнему московскому обычаю. Там было 2 отделения. Лейст тщетно попытался нас провести в более дешёвое, но Муро повернул в шикарное, так что Лейст растерялся: «*Ga sere trop cher!*» (Это слишком дорого!). Обед действительно стоил дорого, но Муро сам уплатил за всех, что сразу успокоило Лейста. Остановились у него в обсерватории; нам выставили кровати в большой комнате среди магнитных приборов. А в квартире у него, по его словам, лежали дети, больные скарлатиной, так что и жену свою он нам не показывал.

Посещение астрономической обсерватории, находившейся поблизости, состоялось на следующее утро. Церасский, директор Московской обсерватории, увидел сперва, что затесался какой-то студент — я был в студенческой форме — сразу обратился ко мне и сообщил, что он сейчас очень занят и не может меня принять. Я опешил, но Лейст представил меня как спутника Муро. Узнав, что я специально занимаюсь астрономией, Церасский пригласил меня завтра зайти ещё раз, чтобы показать астрономическую обсерваторию более подробно, чем я в полной мере и воспользовался. А сегодня нас ожидал ещё парадный завтрак. С сотрудниками обсерватории тогда я так и не познакомился.

Царь в это время был в загородном дворце, и торжественный въезд его в Москву был, по церемониалу, назначен на следующий день, а в это время мы должны были уже ехать дальше — в Курск. А накануне шла во всех церквях торжественная вечерня, и я, вскарабкавшись на метеорологическую вышку, слушал перезвон всех «сорока сороков». Это показалось мне удивительно гармоничным хаосом звуков.

В это время Муро водили к Брестскому вокзалу посмотреть приезд императрицы-матери. И тот, и другой день пребывания в Москве (где я был первый раз в жизни) мы гуляли по улицам, полным толпами народа. Видели проезд по Арбату бухарского

эмира со свитой, а затем пробиралось какое-то забрызганное грязью стадо. Одним словом, Москва представилась мне большой деревней с фантастическими контрастами.

Большой обсерватории я до тех пор не видел. Скромная наша обсерватория Петербургского университета, по сравнению с Московской, была совсем незначительной. Церасскому я, по-видимому, понравился, и на следующий день после первой встречи он разговаривал со мной вполне дружески, подарил мне фотографию прохождения Меркурия через диск Солнца, несколько брошюр — отдельных оттисков своих работ по фотометрии и даже показал свою «домовую церковь» — инструмент для солнечных наблюдений, стоящий в окне его квартиры. С ним ближе познакомился я лишь в 1903 году. Вот и все мои тогдашние впечатления о Москве. Мадам Церасская была в то время юная дамочка, очень миловидная. Как я уже упомянул, на завтраке, данном Церасским в честь Мура, не присутствовали сотрудники обсерватории. На следующее утро после колокольного звона мы отправились на Курский вокзал, где была бешеная посадка, закончившаяся вполне благополучно, и мы едем дальше...

Мур, типичный француз 32 лет, живой и подвижный, приехал в Петербург на несколько дней раньше. Тилло давал ему парадный завтрак в отдельном кабинете Европейской гостиницы. На завтраке присутствовали профессор В. В. Витковский — полковник Генерального штаба, геодезист, с большой рыжей бородой. С ним мы встречались в Русском астрономическом обществе, где он сразу отнесся ко мне очень покровительственно. И здесь он мне дал адрес в Курске одного своего товарища, «где я буду принят, как родной». Был и профессор Воейков — у него руки были, как лягушки, — и он во время чтения лекций вывёртывал пальцы и грыз ногти — известный метеоролог и климатолог. Был и Шокальский, тогда ещё капитан 2-го ранга, бывший секретарём математического отделения Географического общества (Тилло был председателем). Секретарём Географического общества был Григорьев, а председателем — Семенов-Тянь-Шанский (Григорьев также был на завтраке и вместе с Тилло провожал нас потом на вокзале). Было ещё на завтраке несколько военных и штатских. Подавали поджаренные калачи, начиненные грибами, как национальное русское блюдо, чему я очень удивился. Было много вина, говорились горячие тосты. Вместе

с Шокальским мы водили Муро по Петербургу, показывали достопримечательности. Ездили с Муро в Павловск в метеорологическую магнитную обсерваторию. Заведовал ею какой-то немец, который угощал нас завтраком. Там демонстрировался новый павильон для абсолютных магнитных наблюдений взамен сгоревшего. Лейст в Москве утверждал, что павильон этот лично поджог директор Вильд, я так и не понял, с какой целью...

Вообще Лейст мне не понравился, мне показалось неуместным, что он перед иностранцем разводит какие-то сплетни. Через три года, когда я снова был в Павловской обсерватории, где заведующим был уже В.Хр. Дубинский, великой души человек, то он и его сестра в один голос называли Лейста подлецом. Посадил нас Лейст на поезд, идущий на Курск, и с тех пор я его не видел, хотя и слышал о нём много. Лично со мной он был очень любезен и предупредителен.

В Курске на вокзале встречал нас Пётр Григорьевич Попов, учитель, заведующий метеорологической станцией имени астронома-самоучки Семёнова, человек, которому вскружило голову от приёма столь почётных гостей. В сущности, принимала нас губернская земская управа, предоставившая нам бесплатно комнату в отеле Бельвю, и за счет управы построившая для помещения абсолютных регистрационных приборов, привезенных с собой Муро, превосходно оборудованный погреб. К нашему приезду он не был еще готов, пришлось задержаться в Курске для установки приборов. Но прежде всего надо было сделать официальные визиты председателю губернской земской управы Полянскому (он уезжал в Москву на торжества) и главное — курскому губернатору. Губернатором был тогда граф Милютин, сын знаменитого Милютина. Он принял нас очень просто и приветливо и дал «открытые листы», впоследствии во многих случаях помогавшие нам. На следующий день нам (т.е. Муро и мне — студенту) в гостинице подали две визитные карточки: заезжал к вам «губернии начальник». Этот визит, конечно, поднял наш престиж не только в гостинице, но и во всём городе, где было всегда всё известно.

Эти листы помогли нам однажды сесть на товарный поезд, не дожидаясь, когда через 18 часов придёт пассажирский. Они же помогли мне «спасти» Муро: когда в одной деревне Муро занялся наблюдениями, я же пошел в это время искать молоко, ко-

торым мы все время злоупотребляли, и, возвратясь, увидел, что Муро арестовал становой пристав (действительно, иностранец, не говорящий ни слова по-русски, делает какие-то наблюдения невиданными инструментами!). Я, подойдя, подал приставу открытый лист Муро, и сей толстый боров, взгромоздив пенсне на свой нос, громко прочел собравшемуся народу о том, что губернатор предписывает всем властям оказывать такому-то полное содействие и исполнять все законные его требования. Отдавая мне лист, он шелкнул шпорами и отдал под козырек. Инцидент был исчерпан, пристав даже, кажется, извинился.

Еще один любопытный случай был в уездном городке. Получив экипаж и собираясь уехать, мы решили подъехать к местной почтовой конторе, отправить письма, для чего надо было приобрести марки. Дверь была открыта, и я вошёл. Чиновники сидели на местах, но часы показывали без десяти восемь утра. Я подошел к чиновнику, важно читавшему газету. Перед ним лежали марки. Я очень вежливо попросил, чтобы он продал мне две марки (деньги я держал в руке). Он, не отрываясь от газеты, указал мне перстом на часы. Я еще раз попросил его, сказав, что мы спешим и что очень просим сделать эту любезность. Он повернул ко мне разгневанное лицо, а затем снова закрылся газетой. Тогда я снова очень спокойно и вежливо попросил его «взглянуть одним глазком на документик». «Какой документ?! — вскричал он, — это еще что?». Но всё-таки взглянув, заёрзал на стуле, не глядя на меня, оторвал две марки, пробормотал: «Я вовсе не обязан...», но лицо его выражало крайнюю растерянность.

У Муро и у меня были также открытые листы от Императорского Русского географического общества, но ими вообще не пришлось пользоваться. Подпись губернатора и печать его канцелярии производила магическое действие. Я не упомянул ещё о том, что при остановках в уездных городах приходилось наносить визиты исправникам и предъявлять им листы, что обеспечивало любезный приём вплоть до полицейской охраны при наблюдениях наших в городском саду, «чтобы обыватели не беспокоили зря».

К Полянскому, председателю земской губернской управы, Попов привёл нас вечером на чашку чая, здесь никакой официальности не было, был очень радушный прием. Я был не только ассистентом, но и переводчиком, т.к. Муро, конечно, ни слова не говорил по-русски. Он никак не мог себе объяснить слово

«земство» и понял его как «la commune». Так мы и говорили: «La commune de Koursk».

Через несколько дней приборы в погребке были установлены. Муру стремился на приборах своих ощутить аномалию и определить аномальные элементы. Тут ему сообщили, что уже в Шуклинке вблизи Курска, в нескольких километрах, стрелка прыгает, как сумасшедшая, что будто бы землемеры, работавшие там, совсем растерялись, ибо никак не могли словить направление. «Поедем туда, это будет хорошее начало работы!» — воскликнул Муру. По дороге решили заехать к генералу Ларионову, начальнику топографического техникума. Это был человек с выхоленными седыми бакенбардами, говорящий густым «генеральским» басом. Важный геодезический генерал не только благосклонно отнесся к нашей экспедиции, но и не менее благосклонно решил присоединиться к ней.

Итак, в двух колясках разместились мы с Муру, неизменный Попов, Ларионов и еще кто-то. Поехали в Шуклинку. Муру на глазах у всех произвёл определение всех трёх элементов, но, увы, все ожидания «чудес» оказались напрасными — все три элемента оказались близкими к нормальным. Муру злорадствовал: вот видите, весьма возможно, что так будет везде дальше. Ларионов и Попов, наоборот, были крайне удручены. К довершению несчастий, когда мы возвращались в Курск, в открытом поле нас застала страшная гроза и ливень с градом. Впрочем, всё обошлось благополучно, хотя мы и сильно вымокли. Стихии успокоились, и мы возвратились в Курск.

Теперь нам предстояло, по плану Муру, объездить всю Курскую губернию, чтобы получить понятие о распределении в ней магнитных элементов. Утром 15 мая мы должны были присутствовать на площади на торжестве в честь коронации, после чего мы должны были выезжать в уездный город Щигры. И вот настал торжественный день. Погода стояла великолепная. По распоряжению губернатора нам с Муру дали какое-то удобное местечко вне толпы, но вдали от официальных лиц. Церемония началась торжественным богослужением в соборе. После литургии и молебна все духовенство города в блестящих ризах вышло на площадь. С другой стороны, и губернатор, и вся правящая клика также вышла на площадь и заняла соответствующие места. Наступил момент полного молчания. Войска приготовились к па-

раду. Минуты казались часами — всё застыло. Вдруг послышался конский топот со стороны той улицы, где находились почта и телеграф. Всадник вскачь подъехал к губернатору, подал ему телеграмму о благополучном завершении коронавания его величества. Это послужило сигналом к звону колоколов всех церквей, к пушечным выстрелам, потрясавшим воздух, и к началу марша войск Курского гарнизона.

Вечером мы были в Щиграх, уездном городе на восток от Курска. Остановившись в номерах и немного отдохнув, мы отправились в городской сад, где хотели встретиться с исправником. Публика смотрела на «грандиозный фейерверк». Бросали во все стороны искры два «китайских колеса», прикрепленные к столбам, стоящим на лужайке, и три почтенных «отца города» с длинными бородами и медалями сосредоточенно бросали вверх красные и зеленые бенгальские спички, тут же зажигая их. В это время несколько далее, за деревьями, на эстраде оркестр играл что-то очень знакомое, и я еле-еле понял, что это «Боже, царя храни». Подошли к исправнику, познакомились с ним, потом пошли домой. На улицах горели плошки, налитые керосином, а в одном месте горел керосин, налитый в старые калоши, наполняя улицу смрадом...

После этого мы несколько дней ездили по деревням и возвратились в Курск. Купив газету, я увидел, что она полна известиями о катастрофе на Ходынке. В гостинице узнали, что приезжал с визитом профессор Пильчиков из Харькова, первый исследовавший Белгородскую аномалию и состоявший, по словам Муро, в переписке с ним. Муро восклицает: «Едем в Харьков!». Мы быстро собрались и сели в поезд. Меня поразило уже при первом приезде, что знаменитый Курский железнодорожный узел находится среди открытого поля, а до Курска надо еще далеко ехать. Так дело обстоит и сейчас, через 60 лет. Строители железной дороги воображали, что наличие железнодорожного узла притянет город в эту сторону, но этого не случилось.

Как-никак, мы приехали в Харьков. Первое, что меня поразило в нем, что извозчиками назывались пароконные экипажи, а одноконные отзывались лишь на кличку «Ванько». На Екатеринославской улице мы отыскивали гостиницу Монна, которую содержал француз, и это привело в восторг Муро. Позавтракав, мы отправились на Михайловскую улицу, где жил Пильчиков,

и к изумлению узнали, что он уехал в Курск. Накупив консервов, поехали обратно. Поезда Харьков–Курск и Курск–Харьков останавливались одновременно у перрона станции Белгород. И вот я выглядываю из окна, а из окна соседнего поезда выглядывает очень элегантно одетый господин. Я посмотрел на него, и у меня мелькнула мысль: «А вдруг это Пильчиков?», но сейчас же отогнал эту мысль, как совершенно нелепую, хотя, признаться, со мной уже был один раз случай, когда в коридоре Петербургского университета, кипящем студентами, остановил одного из них, назвал его по имени и фамилии, потому что когда-то слышал от его родственницы, что её двоюродный брат «черный и в пенсне»... Встречный поезд тронулся, и я так и не окликнул проф. Пильчикова — это был он — и он благополучно снова отправился в Харьков, откуда он догадался наконец прислать телеграмму и приехать в Курск уже наверняка. При встрече он сразу сказал, что лицо моё почему-то кажется ему знакомым, а я припомнил ему встречу в Белгороде, и он признался, что хотел спросить из окна в окно студента (т.е. меня), почему он так пристально на него смотрит. Всё это почти невероятно, но является несомненным фактом. Пильчиков был элегантен и изящен, одет с иголочки и совершенно не подходил к моему понятию об облике профессора.

Теперь мы принялись за планомерное обследование Курской губернии в магнитном отношении. Муро уже поверил в существование аномалии. Ездили мы на почтовых, выезжали на заре, и по пути между двумя уездными центрами Муро успевал наблюдать 2–3 станции. К вечеру приезжали в новый уездный город. По дороге питались молоком и консервами. Муро не хотел заезжать к помещикам, которые по дороге наперерыв приглашали к себе. Это гостеприимство не было бескорыстным, ибо возможность открытия богатых железных руд привлекала очень многих из них, надеющихся разбогатеть сразу. Поэтому их просьба «произвести магнитные наблюдения на моей земле» нас нисколько не удивляла.

Однако Муро не верил в то, что аномалия имеет своей причиной действительно железную руду, а объяснял скорее присутствием в почве малоценных железных пород. В этом он глубоко ошибался. Но, с другой стороны, он деловой человек, и задержки и угощения у помещиков отвлекали бы от дела, для которого

он был призван, и в этом он был глубоко прав. Только один раз он сдался на приглашение на обед помещика Скалова, хорошо говорившего по-французски, но и то вышла неудача — мы попали случайно на другую дорогу и проехали мимо, чем, вероятно, очень огорчили гостеприимного хозяина. Так с бытом курских помещиков мне и не удалось познакомиться.

Курской аномалией, которая раньше называлась Белгородской, заинтересовалось уже давно Географическое общество. На исследование её оно посылало Сергиевского (известного впоследствии геодезиста, до военной своей карьеры закончившего Петербургский университет). Сергиевский наткнулся на Непхаевскую аномалию, затем — Родд, с которым я познакомился уже по возвращении в Петербург. С Тилло я был всё время в переписке. Он рекомендовал направиться специально в Непхаево. Там мы пробыли несколько дней. Действительно, наклонение стрелки там было велико, но это было ещё далеко от магнитного полюса. Он советовал также проверить очень странный факт, что где-то вблизи села Кочетовка Обоянского уезда Родд получил (в этом пункте) невероятно большую горизонтальную составляющую, что-то вроде 0,43, большую, чем на экваторе! Однако Родд проехал мимо и прозевал Великие открытия, которые он мог бы сделать в этой местности.

Муро также усомнился в возможности такой аномалии горизонтальной составляющей: он не учел того, что где есть местный магнитный экватор, там может быть и местный полюс. Впрочем, при настроении Муро, что здесь вообще не может быть железной руды, такие априорные заключения не делались. Как-никак аномалия горизонтальной составляющей оказалась еще больше, но что ещё интереснее, наклонение магнитной стрелки стало сильно увеличиваться, а склонение стало выделять такие фокусы, что на небольшом пространстве в двух пунктах было в одном фантастически большое восточное склонение, а в другом — такое же фантастическое западное. Ясно, что мы приближались к магнитному полюсу! Муро увлекся. Мы работали весь день, уже делая приближенные установки. Направление на магнитный полюс шло прямо на низину, где было болото. В болото лезть Муро не пожелал.

Моей обязанностью было во все время экспедиции — глазомерные съемки для определения положения данного пункта

среди объектов местности. Я даже зарисовал местоположение слияния двух речонков, где должен был быть магнитный полюс. На пункте каждого наблюдения стрелка наклона показывала уже 89° с лишком.

Когда на следующий год Тилло предложил мне найти точное месторасположение «полюса», мне пришлось отказаться, ибо я был прикомандирован в Пулково. Честь открытия полюса выпала на долю Лейста, поехавшего в Кочетовку на свой счет и нашедшего пункт, где стрелка наклона стояла вертикально, а по склонению стрелка и вовсе не устанавливалась. Это было как раз вблизи той точки, на которую указал Муру и которая была мною нанесена на карту. Но Лейста ждал конфуз: земству он дал голову на отсечение, что именно в этом пункте надо бурить, чтобы найти руду. Но в этом он ошибся. Бурили и бурили глубоко, но руды не нашли. Она была найдена позже и в другом месте, и на большой глубине. Впрочем, до такой глубины под руководством Лейста и не бурили, а просто бросили работу. Однако Лейст не унимался. Он в течение целого ряда лет систематически исследовал магнитную аномалию на большом пространстве. Сперва империалистическая, а потом и гражданская война пресекла его работы. Но он успел составить магнитную съемку всей Курской губернии, заключавшую в себя тысячи пунктов. Но каким образом очутился он за границей в курорте Бад Наугейме? И почему он взял с собой все документы — результаты его многолетних исследований Курской магнитной аномалии, которые он перед этим «отдавал» Советскому правительству безвозмездно? Но внезапно Лейст умер, не долечившись на курорте, и вместе с его смертью исчезли все его документы...

Однако, во время переговоров, приведших к Брестскому миру, говорят, немцы усиленно старались по этому договору захватить эти места. Более того, когда это не удалось, какой-то немец явился к Красину и предложил купить документы Лейста за миллион золотом. Красин отказался. Об этом было доложено Ленину, и тот не пожалел средств, чтобы в кратчайший срок восстановить сеть магнитных наблюдений, утерянных так странно. И вот мы являемся обладателями величайших в мире запасов первосортной железной руды. Правда, она лежит на большой глубине, но советская техника, когда это будет нужно, справится со всеми трудностями, с которыми будет связано добывание её. Итак,

Муро был глубоко неправ, когда уверял, что Курская магнитная аномалия имеет чисто «теоретическое значение».

Из воспоминаний об этой экспедиции некоторое врезалось в память особенно ярко. Например, переправа дважды вброд через Сейм в экипаже, причем ноги пришлось подымать, упирая их в сиденье возницы. Ночевка в Путивле, очаровательном древнем городе, выходящем на живописный овраг, где я часа два слушал пение такого хора соловьев, выкидывавших самые разнообразные колена, каких я потом больше никогда не слышал в жизни. Пели одновременно сотни, может быть, и тысячи соловьев... Ещё меня удивил возница, который должен был приехать рано утром, с серьёзным видом вынул бумажник и дал задаток на сумму сделанного ему заказа. Этот местный путивльский обычай, помню, прямо ошеломил меня. Нигде я не видел ничего подобного.

Ещё одна картина крайней непрактичности и растерянности одного молодого человека осталась у меня в памяти. Мы ехали из Старого Оскола в Новый Оскол. Между этими двумя городами проектировалась или уже строилась тогда железная дорога. Студент-путеец моего возраста (помнится его фамилия Скрыван) встретился нам по дороге. Он сидел в экипаже, возницы его не было видно. Сам он сидел среди сена, и сзади, и спереди было напихано сено. Вид у него был жалкий и растерянный. Мы как раз остановились. Я подошёл к нему. Он ехал также в Новый Оскол. Злоключения его начались с Петербурга. Едучи на практику, он даже не удостоился посмотреть на карту, куда его направляют, а только спросил у кассира, выдающего билеты, дать ему билет до станции наиболее близкой к Новому Осколу. Тот, ни в чем не сомневаясь, выдал ему билет до Ельца (Смоленской губернии). Приехав в Елец, он убедился, что попал «не туда». Добрался, наконец, до Старого Оскола. Тут он нанял экипаж. Смышленный мужичок прежде всего заломил с него тройную цену, затем заставил купить сена для своей лошади столько, сколько лошади хватило бы на неделю, а затем забегал при каждом удобном случае в кабак, где выпивал за счет своего седока. И сейчас он подходил пьянешенек. Мы посадили его, и практикант-студент поехал. Далее мы его обогнали ещё раз и остановились в Новом Осколе на каком-то постоялом дворе, хозяйкой которого была страшная шельма и ведьма. Но значительно позже нас туда приехал и мой новый знакомый. Возница подвёз его к первому

попавшемуся дому и сказал: «Вот гостиница». Было уже поздно, и он стал звонить. Звонил долго и упорно, наконец вышел за-спанный человек и закричал ему: «Что вам нужно?». Тот стал лепетать о гостинице. Увидев путевскую форму, человек перестал кричать и назвал свою фамилию. Оказывается, злосчастный практикант нарвался на своего будущего начальника, захлопнувшего дверь ему перед самым носом и не пожелавшего с ним разговаривать. Что было дальше — не знаю, но настроение у этого молодого студента было убийственное. А я с некоторой самоудовлетворенностью думал: «Путешествую и я в первый раз, веду хозяйство у иностранца, не говорящего по-русски, справляюсь с самыми разбитными мужиками, нахожу места для ночлега, кажется, не делал до сих пор нелепостей. А это что за человек?!».

В Львовском уезде мы остановились в большом селе Ивановском. Рядом было что-то вроде арки с надписью: «Заповедное имение князя Барятинского». Меня охватило волнение: ведь мой отец родился крепостным князя Барятинского. Потом я узнал, что действительно село Ивановское было местом рождения моего отца. Там было много крестьян, носивших фамилию Остащенко. А мой отец был Остащенко-Кудрявец. Судьба его была близка к судьбе Шевченко (с которым он впоследствии был лично знаком), с той только разницей, что Барятинский, заметив большой художественный талант, отдал моего отца в ученики профессору Монигетти, художнику-архитектору, а не вымогал денег для выкупа, как это сделал Энгельгардт с Шевченко.

Магнитная съёмка Муро подходила к концу — общий план был выполнен. Хотелось ещё более детально остановиться на местах, где аномалия проявила себя в наивысшей мере. Делая некоторый тур, мы неизменно возвращались в Курск. Возвратившись еще раз после полуторамесячных разъездов по губернии, Муро ждала телеграмма из Парижа, в которой сообщалось о смерти его тестя, причем требовалась его заверенная подпись для введения в наследство. Курские всезнайки объявили, что в Харькове, таком большом центре, должно быть французское консульство. В Харькове также есть старший нотариус — стоит только съездить туда и все будет устроено. Муро уже научился расписываться по-русски — я его научил, что ему только надо писать «МИПО» по-французски, обязательно через игрек: в Курске это дважды для чего-то требовалось. Мы помчались в Харьков. Конечно, фран-

цузского консульства там не оказалось. Старший нотариус развел руками и сообщил, что консульство в Ростове, но визы его недостаточно, а потребуется будто бы для засвидетельствования французской подписи или генеральное консульство, или даже посольство. Муро решил тогда, чем ездить по городам, поехать прямо в Париж, это вернее. Так и пришлось расстаться с ним, а самому возвратиться в Петербург. Расстались мы хорошо.

Через 11 лет, во время своего пребывания в Париже, я нанес ему визит в *Pare St. Maur*, где он был директором магнитной обсерватории. Он принял меня очень любезно. Я был тогда *Astronome Adjunta l'observatoire de Poulkovo*. Он хотел устроить в честь меня завтрак, однако в мой план не входило ехать вторично за город — это не так уже и близко — на это предприятие надо было потратить еще один день. Мы дружески поговорили и расстались. Муро показал мне обсерваторию и привел в погреб, где стояли те же регистрирующие инструменты, которые я видел в Курске. В его воспоминаниях о поездке в Россию прежде всего фигурировали вопросы: почему, если по пути мост через реку, не едут у нас через мост, а переправляются вброд вблизи моста? Почему, если есть хорошее шоссе, то экипаж сворачивает на параллельно идущую ему проселочную дорогу? Я и через 11 лет не смог ему втолковать, что при самодержавном строе надо ожидать десятилетия, чтобы мосты были в исправности, и что женщины боятся ехать по шоссе, чтобы как-нибудь не повредить его и избежать ответственности, что земство «*la commune*», как он помнит, собирает с проезжих деньги на починку дорог и мостов, но собирает столь медленно, что потребуется целое поколение, чтобы собрать достаточную сумму.

Мы в Курской губернии проезжали иногда через шлагбаумы посреди дороги, где брали какие-то суммы за право ехать дальше, и мне думалось, что содержание сторожа, вероятно, не окупается этими поборами. Я однажды попробовал вместо того, чтобы платить деньги, предъявить «открытый лист» губернатора, и сторож безвозмездно поднял передо мною шлагбаум. Однако, что же распространяться об этом? Пришлось ограничиться остроумной шуткой. Припомнили мы с Муро ту «воробьиную ночь», когда гром гремел непрерывно полтора часа и молнии сверкали со всех сторон. Я не понял тогда опасности того положения, в каком мы находились. Ведь мы могли сгореть заживо.

И многое другое вспомнилось нам. Муру был очень остроумный человек и приятный спутник по путешествию, почти всегда бывший в хорошем настроении. Если он был недоволен чем-нибудь, то шипел, как гусь. На меня он рассердился только один раз, когда я при развилке дорог, при отсутствии каких-либо указателей, скомандовал вознице ехать по левому пути, вместо того, чтобы свернуть правее. «Получил неверные сведения», — шипел он, когда я скоро заметил свою ошибку, и мы поехали назад... Жадность свою он показал только однажды, когда ему в Курске кто-то подарил 6 тростей местного изделия, и он очень боялся, что я попрошу у него одну и, шипя, быстро спрятал их. Но вообще мне казалось, что в семейной жизни он должен быть человеком несколько тяжеловатым.

Зимой 1896–1897 года состоялось совместное заседание отделений математической и физической географии, на котором меня просили непременно быть и выступить, если меня об этом спросят. Помещение было полно народа. Доклад об экспедиции Муру делал Тилло, председательствовавший на соединительном собрании совместно с профессором Мушкетовым (оба сидели рядом). Мне действительно пришлось выступить, когда спросили о предполагаемом местоположении магнитного полюса. Я получил звание постоянного сотрудника Географического общества, кстати, это звание было присвоено также и Попову, вероятно, за то, что он взял небольшой магнитный прибор, который я привез с собой, и наблюдал им на метеорологической вышке среди железной крыши, только чтобы порисоваться перед городом. Это был большой саморекламист. Конечно, большой заслугой его было то, что он добился от губернской земельной управы кредитов на постройку знаменитого погреба, хотя я тоже сомневаюсь в решающей роли его в этом деле. По басне Крылова он был мухой, сидевшей у быка на рогах.

Как я уже говорил, Географическое общество предлагало мне ехать в 1897 году на поиски магнитного полюса, за что я, несомненно, мог получить золотую медаль, однако я предпочел другую командировку, предложенную мне опять проф. А. М. Ждановым — в Пулково на работы по небесной механике под руководством директора обсерватории О. А. Баклунда. Об этой поездке я писал особо. Она явилась поворотной в моей дальнейшей судьбе. Я вообще не намеревался посвятить себя магнитологии, и даже соблазн



Путешественник П. К. Козлов



*Студент Б. П. Остащенко-
Кудрявцев, 1896 г.*

получить большую золотую медаль Географического общества, присуждаемую за большие открытия, меня не остановил.

Зато в Пулково я познакомился и подружился со знаменитым путешественником П. К. Козловым. Зимой праздновался юбилей Географического общества. На торжественном заседании председательствовал Семенов-Тянь-Шанский в мундире, усыпанном сверху донизу звёздами и орденами. На это заседание я получил приглашение, чем очень гордился. После ряда зачитанных приветствий вдруг было объявлено: штабс-капитан Роборовский и поручик Козлов, только что вернувшиеся из путешествия по Средней Азии, пришли приветствовать Географическое общество в день его юбилея. Движение в публике. К столу президиума подошло двое военных. Имена их, сподвижников Пржевальского, были всем известны. Особенно понравился своей наружностью мне Козлов, во взгляде его была целеустремленность, как будто он видел и понимал что-то такое, чего не знают другие. Но, с другой стороны, его отличала простота и скромность. Я не помню, что говорили эти внезапно появившиеся путешественники, но аплодировали им горячо.

В апреле 1897 года я был прикомандирован к Пулковской обсерватории и занимался теорией малых планет. Столовался

я у зрителя Шепелевича вместе с другими астрономами. Председательствовал за столом почтенный Зейбот, который однажды с волнением в голосе сообщил, что сейчас придет обедать вместе с нами известный путешественник Петр Кузьмич Козлов, приехавший в Пулково на 2–3 месяца учиться астрономическому определению мест под руководством проф. Витрама. Скоро появился сам Петр Кузьмич, оказавшийся весьма простым в обращении и приятным собеседником. У него в петлице был солдатский Георгий и орден Св. Владимира. После обеда мы вышли и пошли гулять. Эта послеобеденная прогулка повторялась потом ежедневно. Нас с самого начала сблизило то, что я прошлым летом работал для Географического общества. Он не только рассказывал мне, но и с охотой слушал мои рассказы о Курской губернии. Так продолжалось все лето.

Механик Фрейберг сконструировал усовершенствованную копию универсала Гильдебрандта, маленького и очень портативного, и Козлов должен был явиться пионером работы на этом инструменте, чем он и усердно занимался.

Осенью он уехал в Петербург. Уехал и я, перешедший на 4-й курс. Жил я в общежитии при университете, называвшемся Коллегией им. Александра II. Козлов приглашал меня бывать у него. Он жил на Лицейской улице, на углу Каменноостровского. Жена его, Надежда Семеновна, была племянницей Пржевальского. У них был малолетний сын Вовка, очень похожий на отца. Я с удовольствием бывал у Козловых. Петр Кузьмич усиленно обрабатывал результаты своей экспедиции и готовился к новому путешествию. Слушая его рассказы, я удивлялся тому, что он свободно говорил на целом ряде восточных языков, что очень помогало ему в его общении с местным населением.

Окончив университет 31 мая 1898 года, я на следующий день был принят в число астрономов Пулковской обсерватории. Петр Кузьмич жил то в Петербурге, то в Москве. Когда он ездил в Петербург, мы непременно встречались. Настало время ему уезжать в новую экспедицию. Он был уже начальник её, а спутником он выбрал себе Казпекова. Петр Кузьмич, выезжая из столицы, не хотел торжественных проводов. О числе отъезда его знали очень немногие. И действительно, на перроне сошлись только я и Казпеков, который должен был присоединиться к нему позже, и какой-то старый отставной солдат, спутник Пржеваль-

ского, с которым я познакомился у Козлова раньше, и который, видимо, боготворил его.

В 1899 году я отправился на «Ермаке» вместе с адмиралом Макаровым в полярную экспедицию. Первый поход был неудачен, потребовался некоторый ремонт. Мы стояли в Ньюкасле и готовились ко второму походу. Мне захотелось написать Козлову о том, что и я сделался путешественником, и о своих впечатлениях. Англичанин, агент фирмы Bell and Dun, обслуживавший «Ермак», я не знаю, в каком отношении, посоветовал мне написать письмо П. К. по такому адресу: «Пекин, Английское посольство, Средняя Азия, путешественнику Козлову». По этому фантастическому адресу письмо было послано... и оно дошло! И надо было, чтобы это письмо было единственное, полученное экспедицией в Средней Азии. Как после рассказывал Козлов, он, желая обеспечить себе сроки получения корреспонденции, дал вполне определенные директивы в этом направлении, секретарь же Географического общества, действуя по своим собственным «соображениям» и стремясь сделать лучше, дал свои собственные направления и сроки, в результате чего экспедиция за три года не получила ни одного письма... Как рассказывал Козлов П. К., к месту стоянки экспедиции подсказал однажды какой-то всадник, спросил П. К. Козлова, на английском языке приветствовал его, вручил моё письмо и, отдав честь по-военному, ускакал обратно. Получение моего письма, по словам П. К., было для всей экспедиции большим праздником. Любопытно было знать, сколько стоила англичанам доставка моего письма, ибо, наверное, привез его не одинокий всадник, а, наверное, поблизости расположился целый отряд. Для англичан имела интерес, очевидно, и политическая задача — где находятся русские.

Козлов приехал из путешествия. За это время я успел побывать в двух полярных экспедициях и дважды ездил в Одессу. Возвратившись, он стал готовиться к новому походу в Среднюю Азию. Он предупредил меня, что он сделал в последнюю поездку большое открытие, но это пока тайна, что я скоро узнаю об этом из газет. На этот раз он поехал в Китай обратным путем через Читу. Это было открытие мертвого города Хара-Хото, засыпанного песками. Козлов предусмотрительно снова засыпал свои раскопки, чтобы через несколько лет возвратиться туда с большими силами. Была найдена богатейшая библиотека с книгами

на нескольких языках, но один из них был, казалось, безвозвратно утерян — это язык истребленного населения Хара-Хото, достигшего в своем развитии высокой цивилизации. Однако прошло несколько лет, и в библиотеке Академии наук был разыскан словарь этого языка — и это дало ключ к переводу бесчисленных книг, открытых Козловым, на китайский, а затем — на другие языки.

Англичане продолжали проявлять интерес к Средней Азии, в особенности к Тибету. В столице его Лхасе никогда не был ни один европеец. Там пребывал таинственный Далай-лама. В промежутке между двумя очередными экспедициями П. К. Козлову была поручена сугубо секретная миссия — личное свидание с Далай-ламой. Оно состоялось в одном из отдаленных монастырей в глубокой тайне. Конечно, о сущности своего поручения П. К. не имел права говорить (оно имело политическое значение и, вероятно, давало ему, т. е. Далай-ламе, поддержку против англичан), но то, что рассказывал мне Козлов, было очень любопытно. Далай-лама был молодой человек, всесторонне образованный, хорошо разбиравшийся в политике. Они говорили с Козловым сперва через переводчика, а затем переводчик был отослан, так как Далай-лама говорил свободно на одном из восточных языков, который был известен и Козлову. П. К. убедился, что это один из умнейших и образованнейших людей, которых он видел в своей жизни.

Я уехал в Николаев, где занял место сперва морского астронома, а затем заведующего Николаевским отделением Пулковской обсерватории. П. К. Козлов одно время был хранителем заповедника Аскания-Нова, откуда он прислал мне привет через инженера, заведующего Николаевским коммерческим портом. Козлов там жил с женой, и оказалось, что ее зовут Елизавета Владимировна. Значит, Надежда Степановна умерла? Потом оказалось, что они разошлись. Новая жена П. К. была орнитолог, охотник. Поженившись, они поехали в Среднюю Азию на могилу Пржевальского, где новая жена П. К. поклялась ему в верности идеям Пржевальского. С нею я, наконец, встретился в 1929 году, когда я из Харькова приезжал в Ленинград на астрономический съезд. Я остановился тогда с женой в Доме ученых (бывший Владимирский дворец). Мы имели тогда вдвоем великолепную комнату (бывший будуар великой княжны Елены).

Петр Кузьмич неоднократно приезжал ко мне вместе с женой (после съезда я оставался еще некоторое время в Ленинграде, руководя студенческой экскурсией). Козлов лично показывал нам Этнографический музей в те часы, когда он был закрыт для публики, и где были выставлены его богатейшие коллекции, угощал ужином, после которого показывал свои личные реликвии и даже провожал меня на вокзал, когда я уезжал домой. Новая жена его, по правде сказать, мне не понравилась. Она говорила с ним каким-то снисходительным тоном и называла его не по имени, а «козликом».

После своих великих открытий в Монголии П.К. приехал в Харьков, тогда столицу Украины, читать лекцию в Публичной библиотеке. Я на ней присутствовал. Он читал без всяких ораторских приемов, как бы беседуя с друзьями. После этого он читал еще одну лекцию в помещении Технического общества. Там он демонстрировал книги из Хара-Хото и говорил о своих открытиях в гробницах Монголии, где были им найдены следы украинской культуры. После заседания состоялся ужин, на который по предложению П.К. был приглашен и я. Говорились речи, П.К. было присвоено звание почетного академика УССР. П.К. обедал у меня и после этого сидел у меня весь вечер. Это была последняя с ним встреча. Он мечтал еще об одной экспедиции — к истокам реки Янцзы. Так он туда и не попал и не нанес на карту этого места, откуда вытекает Великая река. Он ездил охотиться на медведей в Тверскую губернию. Во время одной из этих охот он лег спать и так и не проснулся.

Знакомство и дружба с ним — одно из самых интересных впечатлений в моей жизни. Мир праху его. Жаль, что во время эвакуации (из Харькова) я потерял его письма и его труды с трогательными надписями. Сохранилась его китайская визитная карточка на красной бумаге с иероглифами Ко-зе-ло. Что означают эти иероглифы, я и до сих пор не знаю.

Август 1952 года

Приготовления к плаванию на «Ермаке» и поездка в Англию

1899 год

Весною 1899 года директор Пулковской обсерватории О. А. Баклунд получил от вице-адмирала Макарова письмо, в котором тот просил командировать кого-либо из пулковских астрономов для участия в экспедиции на ледоколе «Ермак» для производства астрономических и магнитных наблюдений в полярных странах. Баклунд послал за мной. Придя в кабинет к директору, я с волнением узнал, что выбор его пал на меня, так как он от профессора А. М. Жданова знает, что я уже показал себя искусным наблюдателем, и с другой стороны три года тому назад принимал участие в исследовании Курской магнитной аномалии. И что он согласен отпустить меня на полгода в распоряжение экспедиции адмирала Макарова. У меня закружилась голова... Попасть в полярные страны было моей давнишней мечтой! Далее я узнал от Баклунда, что предполагается, обогнув Шпицберген с Севера, направиться в Екатерининскую гавань на Кольский полуостров, где к экспедиции присоединится Ф. Ф. Витрам, и тогда «Ермак» направится к северным берегам Сибири, к устьям Оби и Енисея, и будет расставлять в соответствующих пунктах знаки мореходства в этих краях.

Профессор Витрам, в звании адъюнкт-астронома Пулковской обсерватории, был также и профессором Академии Генерального штаба и консультантом Главного Гидрографического управления, которое поручило ему эту работу, и в ней я должен был принять бы непосредственное участие. Баклунд добавил, что оказывает мне большое доверие и рассчитывает, что я оправдаю его. Я, конечно, немедленно выразил свое согласие. В один из ближайших дней я должен был уже зайти по указанному мне адресу к командиру «Ермака» для окончательных с ним переговоров.



*Директор Пулковской обсерватории
О. А. Баклунд*



*Б. П. Остащенко-Кудрявцев,
1900 г.*

Командир «Ермака», капитан 1-го ранга Михаил Петрович Васильев, принял меня очень любезно и, чего я никак не ожидал, вручил мне под простую расписку сразу всю сумму — 1000 рублей, предназначенную мне за участие в экспедиции. 10 радужных билетов были у меня в кармане. Он сказал мне также, что я получу специальное извещение. Прежде всего мне надо было собрать свои вещи, кое-что купить и большую корзину отправить на ледокол. Я отвез ее сам, добравшись до Кронштадта на пассажирском пароходе. На рейде в Кронштадте стоял «Ермак». Я нашел ялик и перевез свои вещи на борт судна. Здесь я встретил знакомого мне уже командира М. П. Васильева. Самого начальника экспедиции — Макарова — там в это время не было. Делали уже приготовления к отплытию. Вещи мои направили в приготовленную для меня каюту, которая оказалась рядом с адмиральской.

По плану экспедиции я должен был получить магнитные приборы в Главной палате мер и весов, а затем исследовать их и определить их постоянные в Магнитной обсерватории в г. Павловске. Тем временем ледокол уже отбудет из Кронштадта на долгую стоянку в Ньюкасл в Англии, где будет краситься, грузить уголь и совершать последние свои приготовления к походу в полярные страны, я же в конце мая должен был присоединиться к экспеди-

ции. И так, мне предстояло поехать в Павловск дней на десять. Меня смущало лишь то, что, по достоверным сведениям, Макаров разошелся с профессором Д. И. Менделеевым, что между ними произошел полный разрыв, а Менделеев, будучи начальником в Главной палате мер и весов, может просто не дать мне инструментов. Как тут быть? Заведующим магнитным отделом в Палате был тогда Ф. К. Блюмбах, бывший пулковец, с которым я уже раньше был знаком (с ним еще три года назад меня познакомил Тачалов). Блюмбах передал мне, что он выдаст мне магнитный теодолит и инclinатор как пулковскому астроному под расписку, с обязательством возвратить их по первому требованию.

Приехав в Павловск, я телефонировал в Палату. Сообщив, что звонят из Магнитной обсерватории, я попросил к телефону Блюмбаха. К моему ужасу у телефона оказался сам Менделеев... Властным голосом он спросил, кто я такой и что мне нужно. Не в моих интересах было вмешивать его в это дело, и я, как можно спокойнее, повторил, что мне надо Ф. К. Блюмбаха. Зачем? Я еще спокойнее и настойчивее повторил, что желаю говорить с Блюмбахом. Менделеев с сердцем положил или, вернее, бросил трубку. Через несколько минут подошел Блюмбах. Мы быстро сговорились о том, когда я должен прийти к нему, и в самое короткое время выдал мне инструменты. Дело было выиграно. Теперь, имея в руках инструменты, я тотчас же начал работать с ними.

В Павловске я встретил самое радушное гостеприимство. Магнитной обсерваторией заведовал тогда Владимир Христианович Дубинский, человек, преданный науке. В нем было много душевной теплоты и благожелательности ко всем окружающим. Поэтому атмосфера работы в Павловской обсерватории была спокойная и приятная во всех отношениях. Дубинский, несмотря на свой пожилой возраст, не был женат. С ним жила мать, бодрая старушка 83 лет, и сестра Ида Христиановна. В эту семью входила также старая тетка, которой было далеко за 90 лет, и прелестная девочка, племянница Дубинского. Помощником Дубинского был Савинов. Он жил с женой, у них было две девочки. Поместили меня в какой-то нейтральной комнате, соединяющей обе квартиры, так что я считался гостем и той, и другой семьи. Обстановка как жизни, так и работы была самая уютная. И другие

сотрудники обсерватории наперебой приглашали меня к себе. Прошло несколько дней, и я закончил всю работу по испытанию приборов. Прощание было самое трогательное. Один из сотрудников обсерватории являлся участником экспедиции Академии наук для производства градусного измерения на Шпицбергене и собирался также зимовать там и вести в течение всей зимы метеорологические наблюдения. Академией наук было предложено Макарову встретиться на севере Норвегии с этой экспедицией и провести одну из ее партий в Стурфиорд, который обычно все лето был забит льдами. Сотрудник этот провожал меня на поезд, когда я уезжал из Павловска, и, когда поезд отходил, мы обменивались восклицаниями: «До свидания на Шпицбергене!». Да, мы действительно там увиделись, но не в этом, а в следующем году... Но об этом позже.

Теперь мне предстояло отправиться в Англию. Закончив все формальности по получению заграничного паспорта, 20-го мая я направился в кассу Общества международных спальных вагонов, чтобы получить билет прямого сообщения Петербург—Лондон по направлению Берлин—Флиссинген—Квинборо. У кассы стояла небольшая очередь. Билеты выдавались на поезда, отходящие по самым разнообразным направлениям. Стоящий передо мной пассажир потребовал билет на 21 мая (ст. ст.) как раз на Лондон. Билет был ему выдан, но оказалось, что этот билет был последним. Пришлось взять билет на поезд, отправляющийся на сутки позже. Таким образом я, сам не зная того, избежал смертельной опасности, ибо тот поезд, на который я стремился попасть, потерпел страшное крушение...

Не буду описывать всех волнений человека, в первый раз переезжающего границу. Проехали Вильно, Ковно. Вот и Вержболово. Визируют, отбирают заграничные паспорта. Сажают в вагон, запирают его снаружи. Тихо проходят нейтральную зону. В это время жандарм вручает мне паспорт, на котором написано: «командирован по Высочайшему повелению за границу», и, читая это, делает мне козырек. Вот и Эйдкунен. Вагон отпирают — мы в Германии. Поезд на Берлин еще не подан. В зале ожидания — книжно-газетный киоск, на котором красуются нелегальные русские издания, в первую очередь номера журнала «Освобождение» П. Струве в ярко-красных обложках. Пассажиры бросаются на них и раскупают нарасхват. Открывается вход на перрон.

Там стоит уже готовый поезд. Он отходит бесшумно, без звонков и без свистков, что в то время всех поражало, так как у нас в России было на станциях их бесчисленное множество... Здесь же «Abfahrt» — и все. Новые пейзажи. Приход в Кенигсберг, и снова «Abfahrt». Поезд мчится по направлению к Берлину. Спускается ночь. Рано утром мы в Берлине. Скорость поезда значительно большая, чем у нас, боковая качка сильная.

Вот и Берлин, 6 часов утра. Пять часов стоянки. Я отдаю багаж на хранение, нанимаю извозчика и прошу его возить меня в течение 4-х часов по городу и показать мне все, что с его точки зрения достопримечательно, но в первую очередь свезти меня на Берлинскую обсерваторию. Он везет меня туда. Конечно, в такой ранний час там никого нет, кроме «кастеляна», сиречь, дворника. Я объяснил ему, что я астроном и чтобы он только открыл мне помещения и показывал инструменты. Он все-таки давал и кое-какие объяснения. Таково было мое первое знакомство с Берлинской обсерваторией. Поблагодарив «Нег'а Кастелляна», я поехал дальше, осматривать Берлин. Кстати, я был удивлен, что вместо слова Fuhrmann, которое я привык слушать у нас с детства, в Германии принято слово «Droschkiführer». Мой гид оказался на высоте своего призвания, и все, что он показывал, было интересно. Когда в достаточной мере приблизилось время отхода моего поезда, мы повернули снова к Центральному вокзалу на Friedrichstrasse. Недалеко уже от вокзала мой возница как-то неловко зацепил другой экипаж. Оба остановились. Пассажир, сидевший на втором экипаже, соскочил и подбежал к моему «Droschkiführer'у» с гневным восклицанием. Мой возница отвечал ему не менее гневно. Вдруг они успокоились, обменялись визитными карточками, раскланялись друг с другом, приподняв шляпы. Через несколько минут я был уже у Центрального вокзала. Мой возница обратился ко мне с просьбой дать ему на память свою визитную карточку. Мне это показалось странным, и я спросил, не желает ли он пригласить меня свидетелем только что случившегося инцидента, сущности которого я даже не понял. Он, очень вежливо приподняв шляпу с какой-то замысловатой кокардой, повторил свою просьбу, прибавляя при этом, что ему просто хотелось сохранить память о столь приятном пассажире.

Носильщик, взявший мои вещи из бюро для сохранения вещей и снесший их в пассажирский зал, снова появился лишь

за несколько минут до прихода поезда и посадил меня в вагон. Кстати сказать, весь мой багаж состоял из одного небольшого чемодана и двух ящиков с магнитными приборами. Когда я переезжал немецкую границу, то в Эйдкунене был таможенный осмотр, и мои ящики привлекли внимание немецких чиновников. Их собралось несколько человек. Наконец, самый главный, самый важный и самый пузатый из них изрек: «Ist das ein Theodolit». Я ответил: «Ja wohl, eine magnetischen Theodolit», после чего он с великим самодовольствием дал мне пропуск. Я путешествовал почти налегке, ибо все мои вещи были уже на «Ермаке», дошедшем уже до берегов Англии.

Поезд постоял несколько положенных ему минут и помчался дальше, по направлению к Ганноверу. В положенное время я вошел в вагон-ресторан и сел за свободную половину столика. Со своим визави я не вступил в разговор, а после узнал, что это известный художник Коровин, направляющийся в командировку в Париж. Поезд в это время был уже разделен на два. Я возвратился туда, где был мой багаж.

Здесь я познакомился с соседом — пассажиром, оказавшимся доктором Фальбергом, изобретателем сахараина. Он родился в России, но давно уже покинул ее, а изобретение сахараина, по его словам, превратилось в миллионное предприятие. В России его препарат был признан вредным для здоровья. Он переехал в Германию, принял немецкое подданство. На его изобретение там посмотрели иначе, он владелец нескольких сахариновых заводов. По делам он направляется в Англию.

Стемнело. Поезд уже мчался через Голландию по направлению к Флиссингену. Через окна поезда в темноте можно было видеть огромные ветряные мельницы. Потом поезд замедлил ход и остановился у какой-то платформы, вдали от станции. Появились носильщики-голландцы. Пришлось далеко шагать по платформам. Оказалось, что поезд, пришедший накануне, сутки тому назад, в Флиссинген, потерпел крушение: у паровоза испортился тормоз, он влетел на станцию (конечный пункт) со скоростью 80 км в час, сломал все упоры, проломил стену и очутился в зале 1-го класса, где в это время пассажиры мирно ужинали. Трудно себе представить панику в самом поезде, где было также много пострадавших. Вход в здание вокзала был заколочен деревянными досками.

Вокзал был на самом берегу моря, и, обойдя его, мы увидели огромный пароход, готовый к отплытию. Было около 12 часов ночи. Пароход должен был наискосок пересечь Ла-Манш и рано утром прибыть в Квинборо. Я все время думал о том, что было бы со мной, если бы я прибыл в Флиссинген на сутки раньше?..

Билет на пароход я получил еще в поезде, и отдельная каюта, которую я получил, была ниже средней палубы на несколько этажей, причем иллюминатор был над самой водой. Стоял полнейший штиль. До сих пор я путешествовал по морю только на петергофских и кронштадтских пароходах, иногда при бурной погоде, вообще при качке чувствовал себя молодцом. Однако на настоящем море я себя еще не испытал. Я пошел в ресторан, а оттуда на верхнюю палубу. Мой сосед по поезду, как оказалось, заплатил уже изрядную сумму за право перехода через пролив в отдельной комфортабельной каюте в виде домика на верхней палубе и пригласил меня выпить стакан горячего шотландского грога вместе с ним. Однако я долго не просидел у него, я очень устал и стремился уйти спать в свою каюту. Спал я очень крепко — переход через бурный Ла-Манш прошел как по спокойному озеру, и я проснулся тогда, когда через иллюминатор увидел уже берег Англии, быстро оделся, умылся, забрал свои вещи, сошел с корабля и очутился в таможне. Меня охватила мысль, что предстоит такая же длительная комедия, как на границе с Германией. Ничего подобного: долговязый рыжий англичанин ставил безмолвно мелом крестики на всем, что ему преподносили, без всякого осмотра.

Меня пропустили к поезду, стоявшему уже на перроне. Прошло несколько минут, и поезд уже мчался по направлению к Лондону. На потолке вагона под стеклянными колпаками горели газовые рожки. Я не успел еще спросить себя о целесообразности зажигать газ среди белого дня, как поезд вошел в туннель, затем спустя несколько минут в другой, потом в третий... По пути оказалось множество туннелей... Погода стояла совершенно ясная. Перед глазами мелькали мирные сельские пейзажи с яркой зеленью и многочисленными стадами пасущегося скота. Ярко сияло солнце, над головой было яркое голубое небо. Но вот на горизонте показалась ужасающе темная туча. «Это Лондон», — объяснил мне Фальберг. — «Воздух там пропитан каменноугольным дымом, и в самую ясную погоду небо над Лондоном совершенно серое».

Поезд подошел к одному из перронов огромного вокзала, находящегося в центре Сити, около 8-ми часов утра, в тот час, когда там открываются многочисленные конторы, агентства и банки, и когда толпы служащих в них спешат занять свои обычные деловые места. Улицы, прилегающие к вокзалу, были сплошь запружены народом. Фальберг предложил мне сесть в нанимаемый им кеб, в котором он обещал довезти меня до той гостиницы, где он обычно останавливается при посещении Лондона и где я смогу получить полную информацию о том, с какого вокзала и каким поездом я могу наиболее удобно ехать дальше.

Двухместный кеб оказался каретой без передней стенки, позади которой на особом сидении помещался кучер, управляющий поверх кареты лошадью при помощи длинейших вожжей и длинного бича. Багаж помещался на крыше кареты, а седоки, сидевшие в ней, могли хорошо видеть все, что находилось впереди нее. Вот мы достигли перекрестка двух улиц. Посредине на небольшой эстраде помещался огромного роста полисмен в каске и белых перчатках, с дирижерской палочкой в руке. Взмах ее — и вся толпа, и вереница экипажей, среди которых двигались мы, моментально остановилась сплошным барьером. Такой же барьер оказался и с противоположной стороны. В образовавшийся широкий проход двинулась лавина пешеходов и экипажей поперечной улицы. Через несколько минут новый взмах палочки — восстановилось наше движение вперед до следующего перекрестка, где повторилось то же самое... Никогда в жизни я не видел такого размаха уличного движения и такой правильной регулировки его, и невольно любовался картинами, представляющимися моему взору. Но вот мы доехали до гостиницы, куда направлялся мой спутник. Мне дали направление на вокзал King Cross (Королевский крест) и указали номер и час отхода поезда на Ньюкасл. Чтобы попасть на Скотч-Экспресс, надо было спешить. Мне подали кеб, я простился с любезным спутником и направился дальше.

Я удивился, узнав, что на английских железных дорогах существуют пассажирские вагоны только первого и третьего класса. Вход в каждое отдельное купе — снаружи — дверь прямо в стенке вагона. При каждом купе первого класса — смежные апартаменты для умывания, уборных, переодевания, курения. Я взял билет первого класса. Носильщик объяснил мне, что пас-

сажирский багаж, сколько бы его ни было, перевозится даром, и что нужно самому сдать его в багажный вагон. Боковая стена последнего была отодвинута, приносимые вещи устанавливались под наблюдением самих пассажиров. А квитанции? Они не выдавались. Пассажиру по прибытии поезда оставалось взять носильщика и сказать ему: «Это моё, это моё», — и он возьмет эти вещи и понесет, куда вам надо. Носильщик отнес мои вещи в багажный вагон, затем отвел меня в предназначенное для меня купе (кроме меня сидело 3 человека). На двери было написано: «no smoking». Я дал ему шиллинг (на наши деньги тогда около 50 копеек) и стал ждать отхода поезда. Вдруг носильщик возвращается: «Господин, — говорит он строго, — Вы мне дали слишком много, и я пришел вручить Вам это». Кроме расписания, которое, очевидно, давалось даром, он вручил мне маленькую синюю книжечку с розовым билетом посередине. На книжечке была обозначена цена ее — 6 пенсов — т. е. полшиллинга. Там был календарь, целый ряд железнодорожных наставлений и правил, а розовый билет, к моему глубокому изумлению, был чек на 100 фунтов стерлингов на тот случай, если поезд потерпит крушение и на Вашем трупе (так сказано) будет найдена эта книжка, с указанием на чеке того лица, которому Вы завещаете уплатить указанную на чеке сумму, то она будет вручена этому лицу железнодорожной компанией.

Поезд тронулся в путь со скоростью, достигающей до 120 километров в час. До Ньюкасла — всего 3 остановки, две из них далеко от станции на «джонкинс», где менялся паровоз. Только одна остановка полагалась на этом пути более 600 километров, именно в Йорке, где поезд стоял 25 минут и где в станционном шикарном ресторане был к приходу поезда изготовлен обед для пассажиров по особому заказу. Поезд мчался с бешеной быстротой, от промелькнувших станций не оставалось никакого впечатления, вдали виднелись порой старинные величественные родовые замки — вот и все впечатления от этого головокружительного пути.

Поезд, не замедляя хода, сразу остановился у большой станции. Это был Йорк. Из вагонов начали выходить нарядные леди и джентльмены. Когда они успели так принарядиться? Я был во вполне приличном дорожном коричневом костюме, но это было не то... Мне оставалось накинуть на мой костюм серую крылатку, и в таком виде я пошел обедать. Я тут вспомнил, что читал

в романах, что в Англии, даже тогда, когда муж обедает наедине с женой, то оба облакаются в праздничные одежды... Здесь же только железнодорожная станция! Я сел за стол, съел поданный мне суп. Меню обеда было очень длинное. Подали рыбу, вкусно приготовленную, потом бифштекс. Мясо было сильно зажарено снаружи, внутри же совсем сырое. Очевидно, так готовят в Англии... Пока я недоумевал, джентльмен, сидевший рядом, поставил передо мной крепкий черный перец и горчицицу — дескать, вот как надо есть бифштекс! Я ободрился и стал смотреть, как едят другие. Время, положенное для обеда, уже истекло, и он закончен был за несколько минут до отхода поезда, и все не спеша направились к вагонам.

И вот я уже в Ньюкасле. Большой вокзал. Поезд подкатил к одному из многочисленных перронов. Я взял носильщика и устремился с ним к багажному вагону. Он стоял уже открытый. Я забрал свои вещи, но куда нести их? По моему представлению, полученному из географии, Ньюкасл был приморский город, один из больших портов Англии. Где же море? За разъяснением я обратился к одному из железнодорожников, сновавших взад и вперед по перрону, и попытался спросить об «Ермаке». Тот понял. Подошел другой, третий. Их скопилось четыре... Четвертый, самый толстый из них, вдруг хватил себя по лбу: «Емак!» Icebreaker «Емак!»! Стал показывать руками, как он колет лед... Он позвал моего носильщика и разъяснил ему, где взять билет. Я прочел на билете «Wellington quau» и успокоился: дело шло о какой-то набережной, следовательно, мне надо садиться на новый поезд, ведущий к воде.

Поблагодарив любезного железнодорожника, я направился вместе с носильщиком к поезду, стоявшему у другого, далекого перрона, и вошел в купе, где сидел уже какой-то человек с клеткой, закрытой бумагой. В ней трепыхалась какая-то птица. Я расплатился с носильщиком и отпустил его, и сел на свое место в купе. Нас было в нем двое. Поезд тронулся. Я показал железнодорожный билет своему спутнику и сообщил ему, что я разыскиваю Icebreaker «Емак» — я уже начал произносить это слово, как англичане: Емак. Он закивал головой, подумал немного — и затем показал свой билет, объяснив, что сам он направляется на две станции дальше, но выйдет вместе со мной на Wellington quau и покажет, что делать дальше. «Вот тебе и сухие

и необщительные англичане, — думал я, — где у нас встретишь такого человека, который вышел бы из поезда, чтобы показать тебе дорогу?». Поезд часто останавливался, наконец подошел к нужной мне станции. Оба мы вышли на платформу. Я оглядывался по сторонам. Ничего похожего на набережную. Никакого и признака какой-либо воды поблизости не было. Близ станции проходила пыльная дорога, ведущая вдаль к какому-то заводу...

Мой любезный спутник предложил оставить вещи на сохранение, что я и сделал. Сам же он со своей клеткой в руках предложил следовать за ним. Мы зашагали по направлению к заводу. Подошли к воротам какого-то огромного завода. Мой спутник взял пропуска для себя и для меня. Пройдя несколько шагов, мы остановились у небольшого домика, в котором помещалась, по видимому, контора, и мой спутник попросил подождать. Через несколько минут он вышел в сопровождении какого-то высокого рыжего англичанина, который обратился прямо ко мне на ломаном русском языке: «Что, трудно в Англии путешествовать и не говорить по-английски?». Я обрадовался, бросился к нему и заговорил по-русски, но тот отрицательно покачал головой: по-русски он умел говорить только эту фразу. Однако джентльмен с клеткой объяснил мне, что этот начальник даст мне одного из заводских рабочих, который понесет мои вещи и проводит меня туда, куда мне нужно. Рыжий англичанин более не появился. К нам подошел человек в синей рабочей блузе, очевидно, предоставленный в мое распоряжение. Он говорил только по-английски. Втроем мы вышли из завода и направились обратно к станции. Я уже отвык удивляться чему-либо и только с любопытством следил за тем, что будет дальше. На станции я взял свои вещи, горячо простился со своим спутником, который остался на станции ждать следующего поезда, и пошел вслед за рабочим, который уверенно понес мои вещи по некоторому определенному направлению.

Мы шли по улице какого-то маленького городка, через ряд кварталов, населенных беднотой. Кирпичные дома были грязные, с закоптелыми стенами; какая-то пища, жарившаяся тут же на улице, распространяла отвратительный, вонючий дым. Обитатели имели прямо страшный вид. Но вот мы подошли к узкому проходу между двумя стенами, ведущему вниз к какой-то воде. Это была первая вода, которую я увидел в этой местности. Действительно, это была река, и довольно широкая. Мы подошли

к пристани. Рабочий, несший мои вещи, взял у меня денег, чтобы купить два билета. «Мы все-таки еще далеко от моря, — думалось мне, — но поедем, несомненно, в сторону моря», — мысленно добавил я, увидев на билете место назначения «Hendon dock». Сели на маленький колесный пароходик, шедший очень медленно. Пристаней было великое множество. Наконец показалась пристань с надписью «Hendon dock». Надо было выходить! Моря все-таки еще нигде не было видно. Надо было взбираться по высокой лестнице наверх, на какую-то стенку. Сверху, на небольшом расстоянии, я неожиданно увидел... ледокол «Ермак»! Мы уже подходили к нему. Он грузился углем, пришвартовавшись прямо к берегу. Рядом с ним к берегу подходила высокая эстакада, по которой задним ходом направлялся поезд. Последний вагон подходил к самому обрыву и внезапно остановился. Он был подхвачен огромным краном, перевернут в воздухе. Все содержимое его высыпалось в раскрытый угольный трюм. Тучи черного дыма вместе с мелкими осколками полетели, подхваченные ветром, в нашу сторону.

Судно соединяли с берегом две узкие дощечки. Я не очень-то привык к таким примитивным способам перехода через воду, однако набрался храбрости и совершил этот переход благополучно. Рабочего я спросил, какая ему следует плата за его труд? К моему глубокому удивлению, он ответил, что работает на заводе и что в служебное время он получил поручение от своего начальника, что это поручение он выполнил и возвращается на завод, и ни о каком дополнительном вознаграждении от меня не может быть и речи, и что ему остается только проститься со мной. Я поблагодарил его, пожал ему руку, он раскланялся и ушел.

Я вошел в кают-компанию. Там за длинным столом сидело уже несколько человек. Я не успел еще познакомиться с ними, как в кают-компанию вошел сам адмирал Макаров. Он был в темно-коричневом штатском костюме. Я сразу обернулся к нему: «Честь имею явиться». «Кто такой?» — переспросил меня Макаров, ведь сейчас мы увиделись в первый раз. Я назвал себя. — «Вот и отлично, мы на днях выходим в море. Располагайтесь в своей каюте». Он назвал время завтрака, обеда, чая и ужина и отметил, что место мое за столом будет направо от него на диване, стоящем вдоль левого борта судна. Налево от адмирала был ряд вращающихся стульев, прикрепленных нижней ножкой к палубе. Как



Адмирал С. О. Макаров



Карта маршрута 1-й полярной экспедиции «Ермака» из архива Б. П. Остащенко-Кудрявцева

я после узнал, на них полагалось сидеть, по старшинству, чинам командного состава, начиная с командира, капитана 1-го ранга Васильева, с которым я был уже знаком.

Макаров вышел. Я поздоровался с двумя лицами, находившимися в то время в кают-компании. Одним из них был межевой инженер Цветков Константин Алексеевич, прибывший на «Ермак» накануне, и тотчас же пославший в газету «Новое время» телеграмму о том, что он «присоединился к экспедиции», и сразу предложивший это сделать и мне. Я нашел, что посылать подобные телеграммы не совсем ловко... через несколько дней оказалось, что его телеграмма была почему-то перепутана, и в ней значилось, что «инженер Кочетков присоединился к экспедиции», так что и цель телеграммы — оповестить своих друзей и знакомых о благополучном прибытии на «Ермак» — не была достигнута. Другим человеком, сидевшим в кают-компании, был художник Столица Евгений Иванович. По его просьбе президент Академии художеств дал ему рекомендацию к адмиралу Макарову — и он принял его на «Ермак». С ним мы быстро подружились.

От новых знакомых я узнал, что мы направляемся прямо к северным берегам Норвегии, чтобы принять на борт судна известного полярного путешественника барона Толля — геолога экспедиции, проведем экспедицию Академии наук в Стурфиорд, а затем пойдем вдоль западного берега Шпицбергена, постараемся обогнуть его с севера (чего не сумело до сих пор сделать ни одно судно в мире *(написано в начале 1950-х годов. — З. О.-К.)*), и направимся в Екатерининскую Гавань на Кольском полуострове, где должен сесть на борт «Ермака» Ф. Ф. Витрам. Тогда уже мы направимся в плавание к устьям рек Оби и Енисея. А пока что «Ермак» грузился углем — это займет еще несколько дней.

К научному составу экспедиции принадлежал также лейтенант Ислямов, татарин, магометанин, также морской офицер. Он утверждал, что по чину имеет право на четырех жен, однако до сих пор не имел ни одной. Морской врач Чернышов считался биологом и зоологом экспедиции. В первый же день знакомства мне пришлось прибегнуть к его врачебной помощи: мне влетел в правый глаз острый кусочек каменного угля и больно резал глаз, когда я пытался дотронуться до него. Доктор достал маленькие щипчики и ловко извлек у меня из глаза режущий предмет. Надо все-таки сказать, что это был единственный случай во время всей кампании, что мне понадобилась медицинская помощь. Хотя дважды жизнь вся висела на волоске.

Старший офицер «Ермака», лейтенант Константин Федорович Шульц ведал глубинными приборами — драгой, барометрами и термометрами Негретти-Замбра, служащими для измерения придонной температуры, следовательно, принадлежал также к ученому штабу «Ермака». Со всеми ними мы встречались за столом. Макаров, с его богатым жизненным опытом и живым умом, был замечательный собеседник, также как и командир «Ермака» Васильев. За столом отбрасывались все повседневные заботы и появлялись бесконечные воспоминания о прошлом. Васильев, к тому же, отличался большим остроумием. Когда он поправлял свой длинный белокурый ус и обматывал его вокруг своего левого глаза, можно было ждать всегда интересного рассказа. К кают-компания 1-го класса принадлежал также старший механик «Ермака», долговязый и молчаливый. Была у «Ермака» кают-компания второго класса, к которой принадлежали старший штурман, два младших — Николаев и Эльзингер, а также второй и третий механик.

Когда «Ермак» догрузился углем и очистился от грязи, его вывели на середину реки Тайн, достигшей здесь уже значительной ширины. Город Ньюкасл лежит на этой реке более чем в 60 километрах от моря. С устьем реки, где находится курорт Тайнмаус, соединяют его три железнодорожные линии, одна с правого берега, две с левого. Кроме того, вдоль по реке функционирует пароходное сообщение. На обоих берегах высятся здания судостроительных заводов, большие и малые верфи и т. п. Везде царит оживление. Несмолкающие звуки несутся со всех сторон.

За те несколько дней, которые оставались до выхода «Ермака» в море, я постарался ближе познакомиться с Ньюкаслем и его окрестностями. Спутниками моими были художник Столица, Цветков, или штурманы Эльзингер и Николаев. Раз два обедали в роскошном ресторане в Ньюкасле, посетили варьете, носящее громкое название «Эмпар Съетер». Местные городки на берегу Тайна не представляли собой ничего замечательного. Капитан «Ермака» посоветовал мне с художником Столицей посетить парк в городке Джесмонд. Эта местность носила название «Jesmond dene» и была действительно очень живописной. Англичане умеют красиво и уютно обставлять свои парки. Художник Столица принялся писать этюды. Около водяной мельницы — конечно, бутафорской, — сидела девочка 6–7 лет в розовом платье и соломенной шляпке со своей няней, очень хорошенькая. Столица решил написать ее портрет среди зелени. Он вышел очень удачно. Мы съездили в Ньюкасл, купили конфеты и преподнесли их девочке. Когда мы спросили ее имя, оно оказалось очень поэтичным: ее звали Lilian May — майская лилия!

Побегав по магазинам, я купил много подарков — воспоминание об Англии, не рассчитывая так скоро вернуться туда. Однако судьба решила иначе... Во всяком случае от Англии у меня остались самые приятные воспоминания.

Начало 1950-х годов

Приехал я в Николаев 14-го мая ст. ст. 1909 года (годовщина Цусимы). Встретил меня лейтенант Павел Алексеевич Бровцын, от которого я должен был принять Николаевскую обсерваторию. В тот же день я представился Командиру Николаевского порта, контр-адмиралу Василию Максимовичу Зацаренному, и передача началась.

Бровцын в течение нескольких лет стоял во главе Николаевской обсерватории, однако он не пользовался у своего морского начальства никаким авторитетом всецело по своей вине. Причин этому было много. О них я сообщу, когда буду рассказывать о том, как я налаживал хозяйство в Николаевской обсерватории. Здесь идет речь только о первом шаге в этом направлении.

Первое, что меня поразило здесь, это наличие в Главном здании огромного количества тараканов всех сортов. Необыкновенной величиной отличались черные тараканы, таких я до сих пор не видывал даже на военном судне «Бакан», на котором мне пришлось плавать 9 лет тому назад. Правда, в парадный Круглый зал Николаевской обсерватории тараканы заползали только изредка, главным образом они ютились в кухне и прилегающей к ней большой служебной комнате, но случалось иногда случайно наступать на одного из них, и тогда раздавался звук вроде пистолетного выстрела, если таракан был раздавлен. Ко мне, как к морскому астроному, были приставлены два денщика, помещавшихся в служебной комнате. По их словам, ночью тараканы высыпали из щелей в великом множестве и поднимали такой шум, что мешали им спать. Когда я обратил внимание Бровцына, как он и его жена терпели это безобразие — несколько дней мы жили на Обсерватории вдвоем, — он, улыбаясь, ответил, что черные тараканы приносят счастье, и их грех уничтожать.

Но я твердо решил бороться с ними, и на следующий день после отъезда Бровцына купил коробок двадцать персидского порошка, с которым начал работу: несколько раз в день обильно посыпал щели. Порошок быстро выдыхался, но те тараканы, которые не попадали к себе домой, влезали на подоконники и там дожидались, пока проклятый порошок выдохнется. Я стал посыпать и подоконники, прикупил еще запас коробок и еще несколько дней продолжал борьбу.

Эффект был поразительный. В одно прекрасное утро все тараканы до единого выселилась из Обсерватории навсегда, по направлению 2-й Поперечной улицы и Спасско-Вокзального шоссе. Их стаи покрыли весь двор, представляя собой сплошную движущуюся массу. Как они разместились на ближайший дачах, история умалчивает, но в зданиях Обсерватории в ближайшие 15 лет не было больше ни одного черного таракана.



Тропическая гроза в Николаеве

Недели за полторы до начала Первой империалистической войны 1914 года выдался необычайно жаркий день. Однако небо было совершенно серое, хотя через эту дымку солнце светило достаточно ярко, чтобы в полдень его можно было наблюдать. Перед наблюдениями и после них обычно отсчитывался аспирационный психрометр Ассмана. При температуре воздуха около $+35^{\circ}$ смоченный термометр показывает обычно на 20° с лишним меньше. Отсчитывая смоченный термометр, я с изумлением убедился, что он показывает то же самое, что и сухой. Мне сперва пришло в голову, что я случайно смочил сухой термометр. Быстро вытерев его, я повторил отсчет. Тот же эффект! После нового отсчета я убедился в том, что воздух, очевидно, настолько насыщен влагой, что показания обоих термометров одинаковы. В воздухе стояла полная, зловещая тишина...

Около 9 часов вечера разразилась гроза большой силы. В начале одиннадцати ночи она закончилась и наступила полная тишина. Небо было звездным — можно было идти наблюдать. Однако, несмотря на прошедшую грозу с ливнем, в воздухе продолжала стоять духота.

Я решил идти наблюдать позже, когда, как я думал, в воздухе посвежеет, лег в постель и крепко заснул.

Проснулся я от грохота, равномерного, без раскатов. Сквозь щели массивных ставень, запиравших окна изнутри моей комнаты, проникал яркий свет. Однако, карманные часы показывали немного более часу ночи. Время было близко к новолунию, а светло было, как при полной луне...

Тут я заметил, что ставни ходуном ходят от напора ветра. Откуда же такой сильный свет? Тут только я сообразил, что гремит гром без раскатов, а воздух весь струится электричеством, но, кроме этого, местами вспыхивают молнии.

Это была «воробьиная ночь», после которой находят на земле бесчисленные трупы птиц. Такую ночь я пережил однажды во время экспедиции по исследованию Курской магнитной аномалии. Я ночевал тогда в каком-то большом селе на сеновале и видел подобную же картину.

Сейчас она была еще грандиознее! Я повернул выключатель, но электричество не горело. В это время я услышал плеск воды, как будто льющейся откуда-то каскадом.

Квартира, которую я занимал в Николаеве, заключала в себе 8 комнат. Центральный зал Главного здания, квадратной формы с куполом, который подпирался двенадцатью* колоннами желтого мрамора. Западную часть Главного здания занимали 5 комнат, три с юга и две с севера. Моя спальня выходила на запад, между нею и Круглым залом был кабинет, обращенный окнами к северу. На юг выходили окна комнат матери и сестры. Восточная часть флигеля заключала в себе комнату для почетных гостей и большую вычислительную. С юга к Круглому залу примыкала передняя, в которую вел извне боковой вход. Кверху поднималась лестница, ведущая на плоскую свинцовую крышу, посередине которой, как раз над Круглым залом, возвышалось здание библиотеки с конической крышей и штоком, по которому спускался полуденный шар.

Плоскую крышу со всех сторон обрамлял высокий, в половину человеческого роста, каменный парапет. В конце лестницы, выходящей на крышу, была двойная остекленная дверь. К передней с южной стороны примыкали еще две большие комнаты, затем кухня и другие служебные помещения, и черный выход.

Все окна на ночь запирались изнутри массивными дубовыми ставнями. Как я уже сообщил, в ту ночь электричество не горело. В темноте я пробежал через кабинет, через Круглый зал и очутился в передней, где воды было уже по щиколотку. Дверь, выходящая на крышу, была сорвана ураганом и напором воды, заполнившей все пространство крыши и сдерживаемой парапетом.

Воды было так много, что ее не могли излить все сточные трубы, — и она хлынула вниз каскадом по лестнице и грозила затопить все внутренние комнаты. Я поспешил отворить входную дверь, чтобы дать воде выход. Однако я не предвидел того, что

* На самом деле в зале шестнадцать колонн.

на дубовых дверях изолированная массивная (медная) дверная ручка была заряжена электричеством, и когда я коснулся ее, стоя в воде, то получил в себя разряд такой силы, что меня всего передернуло, и я чуть не упал. Но я уже открыл дверь, и поток воды хлынул наружу.

Тут послышались неистовые крики моей сестры. Я побежал к ней. В ее комнате ураган растворил настежь окно, не сдерживаемое ставней, которая была открыта. В это время защелкал град. Я схватил большую умывальную чашу и выставил ее на воздух. Она наполнилась градинами величиной в несколько раз больше калёных орехов почти моментально. Град скоро прекратился, снова хлынул ливень, и мы с сестрой с большим трудом, против напора ветра закрыли наконец окно. Гром продолжал греметь еще довольно долго. Небо было светлым, как при полной луне.

Эта ночь оказалась гибельной не только для птиц: трупы убитых электрическими разрядами кошек и собак валялись на улицах. Были, говорят, и человеческие жертвы, в особенности в низких частях города, где было форменное наводнение.

Осматривая утром территорию обсерватории, я увидел, что ряд деревьев на ней вырван с корнем. Особенно жаль мне было то, что этой печальной участи подверглась вековая маслина, очень живописная. Ее не только вырвало с корнем, но и понесло ветром на далекое расстояние, и запутало многочисленными ветвями в массивной чугунной решетке, окаймлявшей Обсерваторию с севера. Чтобы высвободить решетку, пришлось все дерево разрубать по кусочкам.

Очевидцы рассказывали, что видели в разных местах города катившиеся по улицам или летящие вдоль них огненные шары — очевидно, это были шаровые молнии. При таком напряжении электричества и это нельзя считать удивительным.

В городе ливень и град нанесли неисчислимые бедствия.



Николаевские впечатления

В августе месяце текущего года я посетил город Николаев, в котором не был без малого четверть века. В Николаеве я провел когда-то 14 лет своей жизни — с 1909 по 1923 год. Я заведовал тогда Николаевским отделением Пулковской обсерватории.

Николаевская морская обсерватория, основанная в 1821 году адмиралом Грейгом, снабжала суда Черноморского флота хронометрами, предварительно выверяя их, а также занималась определением «девиации» судовых компасов, необходимых при кораблевождении. Кроме того, Обсерватория руководила подготовкой молодых штурманских офицеров к практической работе по определению места корабля в море. Центр Черноморского флота уже давно был перенесен в Севастополь. Тем не менее, Николаевская обсерватория продолжала оставаться Главной морской обсерваторией, а Севастопольская считалась ее филиалом.

Таково было положение дел до 1909 года. Около этого времени директор Пулковской обсерватории, академик О. А. Баклунд стремился осуществить свою идею о создании южного отделения с целью производства в нем специальных наблюдений для разрешения новейших астрометрических проблем. Морское ведомство, идя навстречу этому пожеланию, решило ограничиться для нужд флота одною только Севастопольской обсерваторией, а здание Николаевской обсерватории вместе с частью инструментов передать Пулкову. Для осуществления всех задач, связанных с ликвидацией Морской обсерватории и созданием на ее месте Пулковского отделения, после переговоров между Главным гидрографическим управлением Морского министерства и Пулковской обсерваторией выяснилась потребность в немедленной командировке в Николаев одного из пулковских астрономов.

Выбор пал на меня, и в середине мая 1909 года я уже был в Николаеве. Кроме широкой организационной работы по соз-

данию новой современной обсерватории, на меня были возложены обязанности морского астронома вплоть до того времени, когда закончится передача Пулкову здания и инструментов, вместе с территорией около 7 гектаров. Дело затягивалось, потому что законопроект об открытии нового отделения Пулковской обсерватории в Николаеве должен был предварительно пройти через Государственную думу. Открытие новой Обсерватории совершилось в 1913 г. после переустройства всех существовавших ранее зданий и постройки новых, а также установки в только что построенном и по-современному оборудованном павильоне прекрасных инструментов. Заведование новой Обсерваторией было поручено мне.

Нагрянула Первая империалистическая война. В феврале 1917 года разразилась революция. Пало самодержавие. Немцы, украинские буржуазные националисты, махновцы и другие «атаманы», хозяйничавшие тогда в разных местах Украины, последовательно посягали на Николаев и временно водворялись в нем. На улицах города почти непрерывно шла стрельба...

Несколько раз приходила Советская власть и несколько раз отступала. Связавшись с нею почти с самой Октябрьской революции, я широко развивал культурно-просветительную работу среди рабочих, а также в военно-морских частях. Экскурсии на Обсерваторию широких масс рабочих, военных и учащих-ся пользовались в Николаеве большой популярностью. С октября 1917 года начал функционировать в Николаеве Народный университет, существовавший на отчисления рабочих крупных николаевских заводов. В нем я принимал деятельное участие: и в качестве лектора, и в качестве члена Совета. Немного позже мне было поручено организовать «Матросский университет». Избранный его ректором, я в течение нескольких месяцев вместе с несколькими энтузиастами-педагогами успешно занимался повышением культурного уровня многих военных моряков. В 1919 году я был призван к работе во внешкольном отделе Губнаробразе, где руководил организацией и работой первых вечерних школ для взрослых, стоял во главе лекционной секции и был председателем комиссии по охране памятников старины. При белых культурно-просветительная работа среди рабочих проходила тайно, после возвращения Советской власти она снова развернулась. Кроме работы в Губнаробразе, я читал лекции



Николаевская обсерватория. С открытки 1913 года

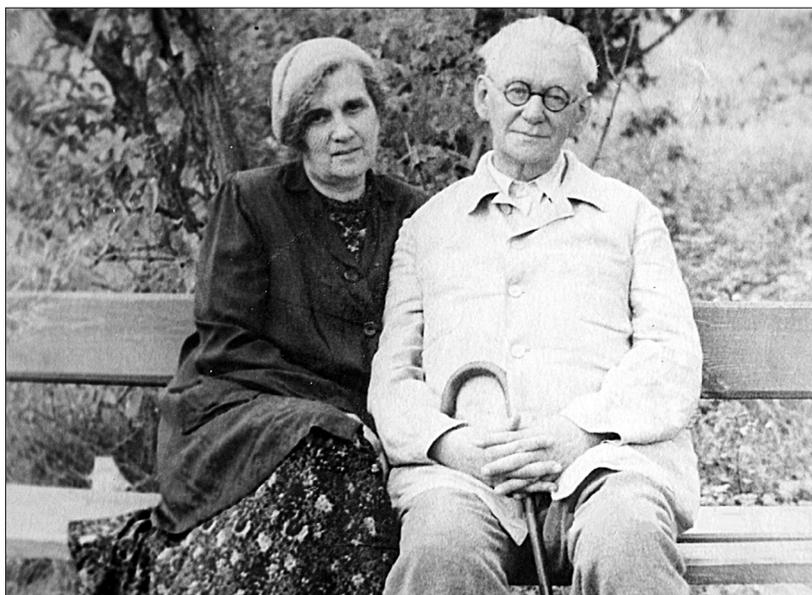


У ворот обсерватории Б. П. Остащенко-Кудрявцев с матерью, сестрой и николаевским градоначальником А. И. Мязговским

по астрономии в нескольких выпусках Губпартшколы. В 1922 году Советская партия и профессиональные губернские организации города Николаева чествовали меня как Героя Труда.

В 1923 году я переехал на работу в Харьков. В 1927 году я приезжал на короткое время в Николаев, в составе наркомпросовской комиссии по обследованию деятельности Николаевской обсерватории, и после этого не был в нем ни разу. Можно представить себе, с каким волнением я подъезжал в августе 1950 года к Николаеву, с которым у меня связано было столько воспоминаний.

Николаев пережил за это время нашествие немецких варваров, стеревших с лица земли целые его кварталы. О жалком состоянии города много говорили и в Харькове. Однако, к моему удивлению и восхищению, оказалось, что Николаев так отстроился, что его даже трудно узнать. Нельзя было себе представить, что за 6 лет столько сделано для его восстановления. Правда, ряд новых зданий еще в лесах, но это только свидетельствует о том, что грандиозная стройка с успехом продвигается. Среди сохранившихся домов, хорошо мне известных по своему облику, в которых обитали в старое время николаевские богачи и в которых ныне помещаются советские учреждения, клубы, музеи и т. п., воздвигнуты новые красивые здания. Глухие стены «дикого сада», примыкавшего к бывшему Дворцу, так называемому «Дому на случай приезда Высочайших особ», тянувшиеся вдоль Адмиральской улицы, теперь исчезли, и здесь возник ряд хороших трехэтажных домиков, а переулки между ними открывают вид на широкую излучину Буга в том месте, где в него впадает Ингул. С одной стороны Советской улицы красуется целая перспектива высоких многоэтажных зданий на тех местах, где когда-то были одноэтажные домики с магазинами-одиночками. Театр... И снаружи, и внутри он совершенно изменил свой облик. Здание с колоннами, выходящее на Советскую площадь, просторные фойе и садик для прогулок в антрактах, уютный зрительный зал (старый был похож на сарай)... Яхт-клуб, водная станция на месте бывшей Спасской с пляжем и незабываемым видом на реку. Ряд санаториев на том месте, где раньше были виллы богачей... всего не перечить. Надо только удивляться работе тех товарищей, инициативе и энергии которых город обязан теперешним возрождением и своими великими достижениями. Итак, от далекого прошлого осталось у меня много живых воспоминаний,



Борис Павлович с супругой Ольгой Николаевной



Борис Павлович с дочерью Ольгой

связанных с историей нашего города, многострадального города, они, может быть, интересны для его обитателей, в настоящем — радость видеть Николаев таким прекрасным.

Пребывание мое в Николаеве сейчас было слишком кратким, так что я не имел, к сожалению, возможности ознакомиться со всеми его теперешними культурными достижениями, и мне хочется в ближайшем будущем снова посетить его. Не могу не упомянуть также о том, что хотелось бы еще познакомиться ближе с местами, связанными с детством адмирала Макарова, родившегося в Николаеве и безвременно погибшего на японской войне. Надо сказать, что в 1899 году я был участником полярной экспедиции Макарова на ледоколе «Ермак». С большим удовлетворением узнал я об установлении мемориальной доски на том доме, где родился Макаров.

ЖЕЛАЮ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОЦВЕТАНИЯ ГОРОДУ НИКОЛАЕВУ!

1950 год



Общий перечень воспоминаний Б. П. Остащенко-Кудрявцева

<i>Название или название цикла</i>	<i>Примечание</i>
Воспоминания детства. Мои родители (в двух частях)	Опубликовано здесь
Мои учителя	ИАИ*, Вып. 3, М., 1957
Поездка в Курскую губернию для исследования магнитной аномалии.	Опубликовано здесь
Воспоминания о П. К. Козлове	Опубликовано здесь
Пулково в 1897 году	ИАИ, Вып. 2, М., 1956
Пулково в конце XIX века	
Местоположение Пулкова	Не опубликовано**
Зима 1897–1898 г.	Не опубликовано
Начало моей работы в Пулково 1-го июня 1898 г.	Не опубликовано
Показывание Пулковской обсерватории	Не опубликовано
Пулковцы и их семьи в 1898 г.	Не опубликовано
Ураган в Пулкове в 1898 г.	ИАИ, Вып. 3, М., 1957
Царские маневры под Пулковом летом 1898 г.	Не опубликовано
Полное лунное затмение в декабре 1898 г.	
Приготовление к плаванию на «Ермаке» и поездка в Англию. 1899 год	Опубликовано здесь

* ИАИ — сборник «Историко-астрономические исследования».

** Примечание: рукописи неопубликованных воспоминаний и общий перечень воспоминаний находятся в семейном архиве Б. П. Остащенко-Кудрявцева в Музее истории Харьковского государственного технического университета строительства и архитектуры.

Броккенское видение. На вершине горы Чебышева на Шпицбергене в 1900 г.	Не опубликовано
Смерч. Шпицберген, 1900 г.	Не опубликовано
Воспоминания об адмирале Степане Осиповиче Макарове (Доклад в ХГИИ 23.05.1947)	Правленная автором стенограмма, не опубликовано

Отдельные эпизоды из пулковской жизни

Смерть А. М. Ковальского	Не опубликовано
Инцидент, едва не стоивший мне жизни, 1903 г.	Не опубликовано
Возвращение в Пулково из Петербурга через Царское село ночью	Не опубликовано
В ночь на 10 января 1905 г.	Не опубликовано
Выборы в Государственную Думу в Царском Селе в 1906 г.	Не опубликовано
За кого приняли? 1907 г.	Не опубликовано
Посещение Пулкова Великой княгиней Марией Павловной с сыном Андреем, август 1907 г.	Не опубликовано
«По Высочайшему повелению», 1907 г.	Не опубликовано
Директорская собака, 1908 г.	Не опубликовано

Эпизоды из жизни в Николаеве

Тараканы	Опубликовано здесь
Тропическая гроза в Николаеве	Опубликовано здесь
Николаевские впечатления	Опубликовано здесь
Харьков, 1925 г.	Не опубликовано

1. Пинигин Г. И., Пожалова Ж. А. Николаевская обсерватория в первой половине XX века. — Николаев : Изд. Ирины Гудым, 2011.
2. Историко-астрономические исследования (далее ИАИ). — Вып. 3. — М., 1957. — С. 625–640.
3. ИАИ. — Вып. 2. — М., 1956. — С. 375–400.
4. ИАИ. — Вып. 3. — М., 1957. — С. 641–644.
5. Петербургский филиал архива Российской Академии наук (ПФА РАН). — Ф. 703. — Оп. 3. — Д. 104. — Л. 8.
6. Труды Главной астрономической обсерватории. — Т. 16. — 1908. — С. 335–388.
7. Главная астрономическая обсерватория в Пулкове, 1839–1917 гг. / Отв. ред. В. К. Абалакин. — СПб. : Наука, 1994. — С. 283–294.
8. Архив Николаевской астрономической обсерватории. — Оп. 2. — Д. 271. — Л. 1.
9. Всеобщая адресная книга С.-Петербурга в 5-ти отделениях. — СПб. : Изд. Гоппе и Корнфельда, 1867. — С. 927.

Документально-художнє видання

ВРАЖЕННЯ МОГО ЖИТТЯ
Зі спогадів директора Миколаївської обсерваторії
Б. П. Остащенко-Кудрявцева
(російською мовою)

Редактор Ж. А. Пожалова

Формат 60x84^{1/16}. Умов. друк. арк. 5,82. Тираж 50 пр. Зам. №9/14.

Видавець та виготовлювач ФОП Торубара В. В.
вул. Наваринська, 5/17, м. Миколаїв, 54000
тел.: (0512) 37-81-28, (067) 800-70-70

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК №4626 від 9.10.2013